

ЛИТЕРАТУРА

ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ



1983/12

Евгений Осетров

МИР

ПЕРВОПЕЧАТНИКА



ЗНАНИЕ

НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ

НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ

ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

ЛИТЕРАТУРА

12/1983

Издается ежемесячно с 1967 г.

Евгений Осетров

МИР ПЕРВОПЕЧАТНИКА

(К 400-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
ИВАНА ФЕДОРОВА)

Издательство «Знание» Москва 1983

ОСЕТРОВ Е. И. — член Союза писателей СССР, главный редактор «Альманаха библиофила», заместитель председателя Всесоюзного общества книголюбов.

Рецензенты: Демин А. С. — доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР; Лазарев В. Я. — член Союза писателей СССР, автор книг и статей по истории отечественной культуры.

Осетров Е. И.

О-72 Мир Первопечатника (К 400-летию со дня смерти Ивана Федорова). — М.: Знание, 1983. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Литература»; № 12).

11 к.

В декабре 1983 года исполняется 400 лет со дня смерти (год рождения неизвестен) основателя книгопечатания в России и на Украине, русского, украинского и белорусского печатника, выдающегося просветителя, создателя первых печатных учебных книг Ивана Федорова.

В брошюре, посвященной этой дате, в живой форме рассказано все, что известно сейчас о жизни и делах Первопечатника, о его окружении и предшественниках.

4503000000

ББК 37.8
002



Ничто же подобно долголетно есть,
яко книг издание.

Николай Спафарий, 1673 г.

Н

вана Федорова, всесветно знаменитого основателя книгопечатания в России и на Украине, знает у нас едва ли не каждый. Но подлинное место создателя типографских шедевров в историко-культурных связях его времени да и в последующие эпохи немногие представляют в подлинном виде. Между тем Друкарь Москвитин, как его часто называли в западных землях, был одной из основных просветительских фигур шестнадцатого столетия во всем славянском мире. Говоря без преувеличений, по размаху деяний, по выразительности тени, отброшенной в будущее, он напоминает таких возрожденческих титанов, как Франциск Скорина, Альбрехт Дюрер, Николай Коперник, создатель «книжной галактики» Иоганн Гутенберг... Кремлевский просветитель не только вооружил Русь Московскую и Украину

подвижными типографскими литерами, что сделало и в последующие времена книгу куда более доступной, чем та, которую медленно изготавливали согбенные писцы в уединенных монастырских кельях. Те самые книгочии-переписчики, боявшиеся как черт лаdana описок и все-таки делавшие их, — промахов не допускал Иван Первпечатник, у которого была ума палата. (Недаром он вслед за «Апостолом» выпустил в Москве «Часовник», основную учебную книгу на Руси.) Друкарь снабдил приспособлениями для печати своих современников и потомков на десятки лет вперед. Москва, украинские и белорусские земли получили в свое распоряжение безукоризненные издания, ставшие навсегда образцом и гордостью отечественной культуры. Наконец, необыкновенно важна была деятельность его учеников — Петра Мстиславца, сыгравшего выдающуюся роль не только в Москве, но и в Вильнюсе, где он продолжил после полувекового перерыва дело Франциска Скорины, выдающегося белорусского гуманиста, или, скажем, Андроника Невежи, самостоятельно выработавшего стиль московских изданий семнадцатого века... Иван Федоров показал, как многое может сделать один человек, осознав притягательную силу просвещения, вооружившись на всю жизнь девизом: «Надлежит мне духовные семена по свету рассевать...»

Интересно сравнение московского, украинского и белорусского Первпечатника с теми, кто в Западной и Центральной Европе действовал в пору, когда распространилась мысль, что целью человека является достижение счастья, отыскиваемого на путях сочетания занятий наукой с общественно-гражданской деятельностью, когда создавали свои книги Рабле, Эразм Роттердамский и Кампанелла. Еще более важно увидеть Друкаря в кругу отечественных предшественников и современников. На Западе, как мы знаем, огромные изменения в науке и цивилизации вызвало изобретение книгопечатания, неотрывное от успехов в самых разных сферах деятельности. Недаром тогдашние типографы были выдающимися гуманистами. Путешествия Колумба, Васко да Гамы и Магеллана привели к великим географическим открытиям, земля перестала быть плоской, она получила другие очертания, она стала большой и вместе с тем более разнообразной... Если Колумб открывал Новый Свет, то Коперник — своим революционным учением — новую Вселенную. У нас задолго

до Васка да Гамы тверской землепроходец Афанасий Никитин совершил хождение в Индию, одарив словесность своего рода Одиссеей, содержащей красочное описание далеких восточных стран. Максим Грек, вчерашний друг итальянских гуманистов, возникнув на московском горизонте, не только сделал первое сообщение в нашей литературе об открытии Америки, но и познакомил Кремль с опытом Альда Мануция, издателя, типографа, выдающегося деятеля эпохи Возрождения, прославившего Венецию в книжном мире.

Находится все больше и больше подтверждений тому, что Иван Федоров знал о деятельности и книгах Франциска Скорины, выдающегося белорусского просветителя и гуманиста, заповедями которого были: «чините добрые дела и в них богатитесь», «оставивши в науце и в книгах вечную память и славу свою». Напомню мнение, ставшее в настоящее время распространенным и общепризнанным: «Именно благодаря изданиям Скорины Белоруссия оказалась первой в числе восточнославянских стран, присоединившихся к общему развитию западноевропейского книгопечатания, и через посредничество Праги, где сначала протекала работа Скорины, прочно связалась с лучшими традициями не только чешского, но также немецкого и итальянского типографического искусства» (Микола Шчакацких).

Не надо думать, что Иван Федоров возник внезапно как Первопечатник. Его деятельность была подготовлена всем предшествующим ходом развития страны. Неоценима роль Москвы, ставшей после свержения монголо-татарского ига центром новых земель, их административным, экономическим, культурным и историческим центром. Важно и поучительно сопоставить Ивана Федорова с такими предвозрожденческими фигурами, как путешественник Афанасий Никитин, как своеобразный деятель и энциклопедист Максим Грек.

Четыреста лет назад перестало биться сердце Ивана Федорова, Друкаря, создателя «книг пред тем невиданных». Мы стали великой книжной державой. Созданы печатные Монбланы и Гималаи. А начинал это дело Друкар!

К памятнику Федорова в центре Москвы, как и к памятнику Пушкина, что напротив Тверского бульвара, благодарные потомки приносят цветы, чтя в Первопечатнике основателя в землях наших расширяющейся книжной вселенной.



ИВАН ДРУКАРЬ

Я сам видел, с какою ловкостью
печатались книги в Москве.

Рафаэль Барберини.
Путешествие в Московию в 1565 году



оявление азбуки и начало книгопечатания — события, разделенные веками, но родственные кровно. Конечно, и до возникновения букв существовала веками словесность, но она была устной. Когда пригожая кириллица появилась в славянских землях, многочисленные предания, памятные события, острые вопросы — ответы перестали быть достоянием одной молвы, они материализовались в записях. Произошло первое упрочение памяти. Когда рукопись стала творением печати, книга обрела возможность встречаться со всеми, кому она потребна, келейное затворничество осталось позади. Память обрела крепость, что дало позднее возможность провозгласить: рукописи не горят.

...В послевоенную пору под Смоленском, в Гнездово, извлекли из земли корчагу — глиняный сосуд с двумя ручками, неплохо сохранившийся, хотя и надтреснутый в нескольких местах. Возраст корчаги оказался почтенным — без малого тысяча лет. Находили, как мы знаем, в курганах вещи старее — вспомним скифское золото и остроконечные

мечи викингов. Но этот кувшин отличала особенность, взволновавшая ученых: зоркий глаз прочел на сосуде надпись, гласящую «Гороухша», или было еще такое прочтение — «Горушна». Старое славянское слово, означающее горчичное семя или зерна, горькую пряность: горуша—горунша, то есть то, что может жечь, гореть. Но есть и другие прочтения. По начертанию букв определили, что перед нами — древнейшая славянская надпись, старше ее найти еще не удавалось. Гнездовская надпись была сделана в самом начале десятого века. Знаменитая славянская надпись в Добрудже относится к сороковым годам, а надпись болгарского царя Самуила — конец десятого столетия.

Буквы на корчаге кто мог написать? Горшечник? Откуда простой человек — не князь и не монах — ремесленник или воин, занявшийся обжиганием глины, мог научиться письму? Так ли узок, как мы думали, был круг грамотеев? В последнее время, когда одну за другой находят берестяные грамоты, мы могли убедиться, что писать-читать умели многие горожане, рядовые люди, в том числе женщины.

«Письмо» и «книга» звучат на любом славянском языке и теперь одинаково. Общими же бывают наиболее старые слова и выражения, как например: **книги ведати, разумети, умети** означали **уметь читать и писать**. Сотни лет письмо и книга сопутствуют человеку, как хлеб и вода. Они насущной нуждой стали в славянских землях довольно рано. Впрочем, приглядимся внимательно к буквам — многое кроется за ними.

Рождение славянской азбуки неотделимо от имен Константина (Кирилла) и Мефодия, братьев из Солуни, как славяне называли греческий город Фессалоники, входивший в состав Византийской империи. В Фессалониках в десятом веке да и позднее преобладало славянское население. Солунский говор — веточка древнеболгарского языка. «Ведь вы оба — солуняне, — говорил византийский император Михаил, обращаясь к братьям, — а солуняне все хорошо говорят по-славянски». Есть споры о национальности братьев, но Древняя Русь, как и другие славяне, жившие на Балканах, всегда их считала болгарами. Кирилл — имя позднее, принятое подвижником перед смертью — был такой обычай. Родная Солунь, а затем и Царьград знали его как Константина. Семья была знатного происхождения, отец Кирилла и Ме-

Фодия — Лев, «друнгарий под стратигом», помощник военачальника Солуни, второго по величине города Византии.

Мефодий был старшим и с нежным уважением и редкостной любовью относился к младшему брату Константину, отличавшемуся с детства способностями, прилежаньем, скромностью, терпением. Для продолжения образования Константин приехал в Царьград, где усидчиво изучал грамматику, философские науки, богословие, геометрию, риторику, арифметику... Он, имея приятный голос, обладал певческими способностями, умел убедительно и красноречиво вести научный спор. Кроме родного славянского языка, он знал греческий, читал в подлиннике Гомера и античных философов. Свободно владел латинским, арабским, еврейским языками, то есть был во всеоружии тогдашней образованности. Перед энергичным молодым человеком в роскошной византийской столице лежало множество дорог, но он предпочел придворной суете скромную должность библиотекаря и преподавателя философии. В ту пору, очевидно, и возникло прозвище, ставшее фамилией, — Философ.

Царьград был многолюдным, многоязычным городом, украшенным прекрасными зданиями, площадями, садами. На праздничные торжества-церемонии, отличавшиеся пышностью, приезжали гости со всего мира. Но Кирилл Философ сладостные часы проводил в библиотечной тиши, изучая бесчисленные рукописи, имевшиеся в его распоряжении. Он с юных лет знал, что книжная мудрость влечет к себе как магнит. Его мудрость, знание, душевное обаяние привлекали многих. Для бесед приглашали его к себе и византийский император Михаил III, и патриарх Фотий, в чьих руках сосредоточивалась светская и духовная власть.

Изредка корабли, прибывающие в бухту Золотой Рог, привозили вести от Мефодия, который сначала занимал высший пост в Македонии, а затем удалился в монастырь в Малой Азии, посвятив себя полностью изучению книг. Но братьям недолго пришлось вести тихую жизнь, общаясь каждодневно со старыми рукописями.

Константинополь был столицей огромной страны, терзаемой жестокими распрями, внешними и внутренними недругами. Религиозные споры перерастали даже в вооруженные столкновения, когда в ход шли мечи. Кирилл Философ — наиболее проницательный ум тогдашней Византии — не мог

стоять в стороне от kloкочущего мира. Философ хотел словами вразумить людей. Ездил по поручению патриарха в Сирию, где вдумчиво спорил с арабскими мудрецами. А потом ему выпало на долю морское путешествие в Херсонес. Стены приморского города в Таврии, существовавшего с далеких античных времен, заставляли вспомнить легендарную Трою или библейский город Иерихон. Более всего поразили Кирилла Философа надписи на памятниках — эпитафия изучает их и поныне, много столетий спустя. Во времена Кирилла поэзия надписей на камне переживала свой расцвет. В словах, вырубленных на мраморе, красота греческой речи состязалась с добросердечием и певучестью разговорной речи славянской.

Пришел однажды человек, «глаголющий русским языком». Убедившись, что Философ его понимает, человек показал посланцу Царьграда книги, написанные «русскими письменами». Никто не может до сих пор сказать, что это были за письмена. Догадки строятся самые различные. Чаще всего полагают, что, наверное, русские слова были написаны греческими буквами.

В 862 году из Великой Моравии и княжества Паннонии прибыло посольство. Славяне, жившие в селениях по травянистым берегам Эльбы (славянская Лаба), в лугах и рощах равнин Влтавы и Моравы, слезно просили Константинополь прислать им проповедников, которые знали бы славянский язык. Им — славянам — тягостны и докучны были назидательные речи на немецком или латинском, ведь простые люди их совсем не понимали. Приехавшие из Моравии говорили от имени тех, чьими посланниками они были:

— Мы, славяне, простая чадь...

В старом жизнеописании с гордостью рассказывается, что царь Михаил торжественно пригласил ученого мужа Кирилла и, подчеркнув, что в нем заключены «дары мнози», сказал ему:

— Слышишь ли, Философ, речь сию, никто, кроме тебя, славянам не может помочь.

Кирилл потребовал, чтобы вместе с ним в славянские земли, не просвещенные книжным учением, послали и его брата Мефодия. Знал Философ, что многие тяготы и трудности ждут их на пути. И не скрыл Философ своей заветной мечты — создать азбуку для славян, чтобы каждый мог ее

понимать. В ушах Кирилла зазвучали болгарские песни, которым в детстве внимал он в Солуни. Подобные им потом он слушал только тогда, когда ехал через бесконечные скифские степи к берегам Волги.

...В староболгарском книжном памятнике, написанном, правда, спустя много лет после событий, рассказывается, что Кирилл Философ со своими содрузгами приехал на реку Брегалницу, где жило славянское, по преимуществу болгарское, население. Здесь Кирилл не только начал свои проповеди, но совершил основное: «И создади им буквы на славянском языке».

На создание славянской азбуки, построенной с использованием греческого алфавита, несомненно, надо было потратить многие годы. Некоторые буквы Кирилл взял из греческого и других алфавитов, некоторые придумал сам.

Здесь надо сделать несколько пояснений. История любит споры — сколько голов, столько и мнений. Некоторые считают, что славянскую азбуку Кирилл создал еще до отъезда в Моравию и даже воспользовался ею, переводя вместе с Мефодием избранные отрывки из Евангелия, апостольские послания и псалтырь. Издавна существовали два вида азбук — глаголица и кириллица. Глаголица существовала совсем недолго, многолетие было суждено кириллице, в чьем названии сохраняется память о Кирилле Философе, твердо отстаивавшем право славян иметь свою письменность на родном языке. Через века прошла заповедь солунских братьев:

Солнце светит для всех...

Азбука — великий шаг.

Каждый народ нуждается в своей письменности, литературе.

Кирилл и Мефодий переводили рукописи на славянский язык, основывая тем самым новую книжность. Об этом в старину повествовалось с нескрываемым восторгом: «И отверзлись уши глухих для услышания слов книжных и ясен стал язык». Перевод — новое и неожиданное дело. Сохранилось предание, что первая фраза, переведенная Кириллом, гласила: «В начале было слово...» Еще долго-долго в Европе богослужебные книги читались преимущественно на латыни и греческом. В Англии первые стихи на английском языке прозвучали в пятнадцатом веке; во Франции и Германии стали переводить Библию в шестнадцатом столетии,

Во всех славянских землях появились книги, переписанные старательными учениками Кирилла и Мефодия. Каждая буква напоминала людям о братьях из Солуни.

Малолетний ученик чертил первые в своей жизни аз и буки — этим продолжал дело, начатое Первоучителями.

В средние века, когда хотели воздать высшую хвалу человеку, его канонизировали, то есть причисляли к лику святых. Первыми из славян этой чести удостоились Кирилл и Мефодий. О них было сложено множество песнопений, сказаний, легенд.

Древняя Русь чтит подвиг просветителей Кирилла и Мефодия. О них подробно рассказывала «Повесть временных лет», великое художественно-историческое произведение домонгольской поры.

* * *

Теперь о первых книгах, напечатанных в типографии; о славном Иване Первпечатнике, который одновременно был и писателем, автором выразительных послесловий и предисловий, и редактором, и переводчиком, и истолкователем текстов. Его образ через расстояние времен переливается и мерцает, как смальта в старых мозаиках.

Со времен берестяных грамот и рукописных книг, Остромирова евангелия и Изборников Святослава, с поры Ивана Мудрого до поры Ивана Грозного буквы писались рукой. Работа подвигалась медленно. На изготовление одной-единственной рукописи уходило иногда пять—семь лет. Писец должен был обладать четким и красивым почерком. Каждая буква часто даже не писалась, а рисовалась. Подбирались тщательно чернила, писали даже растворенным золотом или серебром. Один переписчик с гордостью подписывался: «Золотописец». Начальную строку новой главы выделяли красными чернилами, отсюда и пошло выражение «начать с красной строки».

Состав и форма букв менялись с веками. Различают **устав**, **полуустав**, **скоропись** и **вязь**. Устав был наиболее древним почерком, им писали на «пергамене», четко, часто с наклоном вправо, буквы — на равном расстоянии одна от другой. В пятнадцатом веке устав был вытеснен полууставом, который был проще своего предшественника, прямые

линии допускали кривизну, можно было буквы писать по-разному. Дело все в том, что потребность в написанных текстах резко возросла и медлить с этим, как в давние годы, было невозможно. Не замедлила появиться и скоропись, когда перо непрерывно двигалось по бумаге. В особо торжественных случаях использовалась вязь, особенно при написании заглавий; буквы связывались в один непрерывный узор, иногда очень прихотливый. Позднее, когда Иван Первопечатник задумал свое дело, он тщательно изучал старые книги. Особенно полюбились ему полуустав и вязь. Для набора текста отливались буквы-литеры полуустава, а для заглавий была пущена в работу вязь.

Вернемся покамест к книге от руки писанной.

Рядили ее как невесту! Листы украшались рисунками-миниатюрами, они были красоты неописуемой. На отделку переплетов из деревянных досок шла тщательно выделанная кожа. На обложках помещали драгоценные камни, золотые или серебряные застёжки. Прадеды любили говорить: «Книжное слово в жемчугах ходит».

Больших денег стоила одна книга. Иметь библиотеку из четырех-пяти книг означало — владеть состоянием, которому завидовали. Одну книгу можно было обменять на табун лошадей, стадо коров, на груды соболевых шуб... Но и прашуры ценили книгу не за украшения, а за то, что в ней написано. С благоговением люди произносили: «Книжный свет».

Около тысячи лет назад в Киеве при Ярославе Мудром под сводами Софийского храма была создана первая у нас библиотека. В ней трудились переводчики, писцы и художники. Много заморских книг тогда было переведено на славянский язык. Сначала книги переписывались в Киеве и Новгороде, а потом и в других местах Руси — Чернигове, Галиче, Суздале, Ростове Великом, во Владимире, Старой Рязани, и наконец, книжный свет пришел в Москву. Восторженная похвала книгам была создана в Киеве. Ее повторяли несколько столетий подряд и помнят в наше время: «Великая польза бывает от книжного учения. Книги — реки, напояющие Вселенную мудростью. В книгах — несчетная глубина, ими мы в печали утешаемся...»

Жизнь книги, как и жизнь человека, была полна опасностей. Рукописные творения гибли при нашествии врагов,

в походах и странствиях, при пожарах, наводнениях и других бедствиях. Когда приближался неприятель, люди уносили за надежные крепостные стены не только хлеб и воду, но и книги. Книги укрепляли дух, утешали, вселяли надежду.

С годами Московское княжество ширилось, богатело, присоединяло к себе все новые и новые земли, становясь могучей державой. Когда же Иван Грозный взял под свою властную руку в 1552 году далекий город на Волге Казань, а затем и Астрахань, перед окрепшей Русью открылись необъятные просторы. Волга манила в далекий путь, к Хвалынскому морю, как тогда звали Каспий, к сказочным странам Востока. Малопроторенными дорогами устремились землепроходцы за Урал-камень, в Сибирь, богатую мехами, золотом и всяким иным добром.

В новых землях, удаленных от Москвы на сотни и тысячи поприщ, понадобились книги — узнавать законы, отправлять службу, вести переписку, учить детей грамоте.

С востока и запада, с севера и юга скачут в Москву гонцы за книгами, да где их Москве взять!

Скрипчик переписчик гусиным перышком, торопится, делает ошибки, пропуски — все равно мало успевает.

Иван Грозный гневно говорил: «Писцы пишут с неисправленных переводов, а написав, не правят же, опись к описи (ошибка к ошибке) прибывает...»

Москва строго-настрого указывала ближним и дальним землям, чтобы неисправных книг не продавать, не покупать, в церковь не вносить и по ним не петь.

Стали создавать дружины-артели переписчиков. Дело пошло намного быстрее, но рукописных книг все равно не хватало.

Как быть?

Слали гонцов в Белокаменную за книгами... Москва — всему голова — думу думает: где книги раздобыть?

Вести из далеких стран доходили не быстро, но доходили. Изобретение славного немецкого мастера Гутенберга положило начало книгопечатанию в Европе. Вслед за Германией печатни появились в Италии, Франции, Чехии, Польше... Особенно в славянских землях прославился Франциск Скорина, белорусский печатник и просветитель, учившийся в Полоцке, а затем в Краковском и Падуанском универси-

татах. Его издания превосходно иллюстрировались, в них были предисловия, послесловия, примечания. Сам он переводил рукописи, сам украшал книги и печатал. Его типография в Вильно — одна из самых первых в Восточной Европе. Позднее его издания попались на глаза Ивану Друкарю, и он любовно использовал мотивы Скорины. Были и другие славянские печатни. На Балканах, в далекой Черногории, захваченной турками, удалось начать выпуск печатных славянских книг. Когда иноземцы помешали этому делу, печатать начали в Венеции. Далеко от Москвы Венеция, но венецианские издания то морем, то сушей все-таки добирались до стен Белокаменной.

Максим Грек, приехавший в Московию с Афона, рассказывал своим кремлевским собеседникам, как он в юности дружил со знаменитым типографом-издателем книг в Венеции Альдом Мануцием, чьи издания малого формата расходились по всему миру. Видел ли Максим в Венеции славянские издания? Человек он был пытливый и все время проводил за столом — с книгой или пером. Советовал ли он Москве завести печатню? Ученый монах любил рассказывать, сопоставлять, предлагать...

Сначала возникла мысль печатать книги в чужих землях. Но прикинули — далеко, возить трудно, дорого, неудобно. Не завести ли, мечталось, печатню в самой Москве?

Прологом к федоровской типографии послужили два эпизода, связанные с митрополитом Макарием и так называемой Анонимной печатней.

В 1542 году повгородский архиепископ Макарий стал московским митрополитом. Был он человек начитанный, литературно одаренный, страстный любитель и почитатель книг. Еще живя в Новгороде, он стал собирать книги и документы, делал это «не щадя серебра и многих почестей». В Москву он явился не только с обозом книг, но и со многими помощниками, людьми просвещенными и энергичными. Теперь книги собирались по всей Руси, переписывались, уточнялись. Было решено создать энциклопедию того, что потребно для чтения в календарном порядке. Так на свет появилось двенадцать томов, вместивших в себя библиотеку литературы, которая была в ходу. Она называлась «Великие Четьи-Миней», предполагалось, что их надо читать каждый день. А как быть с теми сочинениями, которые нужны,

но на какой-либо день их никак не отнесешь?.. Как, например, поступать с литературными описаниями хождений-путешествий? С «Топографией» Козьмы Индикоплова? Макарий повелел в конце месяцев сделать приложения, в которые и вошли произведения, не связанные с определенными днями. Работа по составлению Великих чтений заняла много лет; в ходе работы макарьевский кружок превратился в своего рода издательство-академию, где велись споры и постигалась древняя книжная премудрость. Подобия Великим Чтениям не было в странах славянского мира.

Предприняла Москва попытку завести и собственную типографию. Работа велась робко и скромно, на изданиях даже не помечали, где и когда книга вышла в свет. Это, скорее, была проба сил — о ней предпочитали не говорить и довольно основательно забыли. Когда же ученые в наши дни все-таки точно установили, что в Москве с 1553 по 1665 год действовала типография, то ее нарекли Анонимной печатней. Из нее, как подсчитали, не вышло и десятка книг, да и видом они были неказисты. Подлинное же значение ее было в том, что в ней, скорее всего, сделали свои первые шаги Иван Федоров и Петр Мстиславец, которым и суждено было стать начинателями-пионерами, выведшими Москву на широкую книжную дорогу.

* * *



Когда Иван Федоров начал печатать 17 апреля 1563 года и закончил 1 марта 1564 года «Апостол», едва ли кто понимал, какой огромной важности событие в Москве совершилось. Около тысячи одинаковых книг!

Возьмем «Апостол» в руки... Время выветрило запах типографской краски, и с годами — даже больше, чем в дни Ивана — она, имеющая 268 листов, напоминает рукописную, особенно написанием букв. Но приглядевшись, убеждаешься, что перед нами шрифт так называемого москов-

ского типа. Все выше похвалы — гравюра, открывающая издание, заставки, инициалы, рамки-розетки, строки вязи. Заглавные строки вязи, пометы на полях, отдельные строки в тексте папечатаны красным. И по двухцветной печати «Апостол» напоминает рукописный фолиант, вышедший из-под рук славянского художника-писца. Прочная глянцевая бумага. Если посмотреть на свет, то увидишь водные знаки: печатки со звездой и короной, кораблик, небесная сфера. Федоров воспользовался бумагой французского производства.

Страна, имеющая книгопечатание, отличается от страны, не освоившей производства книг. «В виде печатного слова мысль стала долговечной, как никогда, — писал в свое время Виктор Гюго, — она крылата, неуловима и неистребима. Она сливается с воздухом... Она превращается в стаю птиц, разлетающихся на все четыре стороны, и занимает все точки во времени и в пространстве... Разрушить можно любую массу, но как искорепить то, что вездесуще? Наступит потоп, исчезнут под водой горы, а птицы все еще будут летать...»

Книга-птица вылетела из Печатной избы, что построенная была на Никольской улице, рядом с Кремлем.

Была ранняя московская весна, и над берегами чистой извилистой реки Неглинной звенел первый жаворонок, обрадовавшийся проталинам на берегу. Понимал ли кто значение случившегося? Наверное, все-таки дальше всех смотрел Иван Первпечатник, или, как потом его стали называть, Иван Друкарь. В южнорусских и западных украинских и белорусских землях типографию именовали друкарней, а печатника — друкарем. Прозвище пристало к Ивану — всю жизнь он только и делал, что друкарствовал, то есть занимался изготовлением книг. Слава Ивана Друкаря обошла Русь и вышла далеко за ее пределы. Прозвище, точнее, обозначение профессии, породило немало недоразумений. Мы привыкли к тому, что рукопись создает автор, а полиграфисты превращают ее в книгу. В ту пору было далеко не так. Книжник не просто переписывал страницы предшествующих ему хронистов, но ощущал себя редактором, составителем и, наконец, соавтором и автором труда.

Велики и трудны были заботы, связанные с созданием Печатного Двора, отливкой шрифтов, подготовлением иллю-

стративных материалов, обучением помощников... Работы эти едва ли по силам только одному человеку. Многое, разумеется, объясняет существование Анонимной типографии в Москве — в ней, вероятно, прошел школу обучения Иван Федоров, ставший гением первой московской книги. В пользу этого соображения говорит точность и полнейшая безупречность текста федоровского «Апостола». А четкость и соразмерность литер! Даже Н. М. Карамзин, десятки лет склонявшийся над старинными книгами, отметил, что московский «Апостол» поразил его «красотою букв».

Книга, выйдя из типографии, остается драгоценным созданием человеческого духа. Именно эта сторона больше всего привлекала московского Первопечатника.

В какой среде действовал первопроходец?

С конца пятнадцатого века Москва была озабочена неточностью служебных рукописных книг. Беда была не мнимой — религиозные тексты имели силу закона. Напрасно в Москве громогласно объявлялись запрещения добавлять хотя бы «точку едину». Ошибки множились, и возникала путаница — бес ногу сломит. В придворной кремлевской среде даже раздалось восклицание: «А здешние книги все лживые...» Сигизмунд Герберштейн в Записке о московских делах рассказал знаменательный эпизод. Страсти доходили до кипения. Максим Грек, приехавший с Афона для создания точных переводов, посмотрев книги, нашел, повествует Герберштейн, много весьма тяжелых заблуждений и — даю слово свидетелю событий — «объявил лично государю, что тот является совершенным схизматиком, так как не следует ни римскому, ни греческому закону». Напомню, что в католических и православных церквях понятие «схизма» означает раскол. Схизматик — раскольник. Назвать кесаря в Москве схизматиком — тяжкое оскорбление. Как видим, вопрос о книгах обсуждался на высоком уровне. Огнем полыхали споры!

Вопросы о точности книг, о возможности снабдить ими вновь обретенные земли стали вопросами государственной важности. Иван Федоров избрал первой книгой для печати «Апостол», бытовавший на Руси с двенадцатого века. Пятнадцатое столетие знало «Апостол» в четырех редакциях и во множестве списков. Каков же подлинный текст? Нам это вопрошение представляется несколько отвлеченным. Для

средневекового человека оно было делом жизни-смерти и даже важнее, ибо от ответа зависело, чему быть — «вечно-му спасению» или «вечной гибели».

Долгое время считали, что Иван Федоров был в основном исполнителем митрополичьих или государевых повелений. Он-де просто-напросто взял одну из обращающихся в обиходе рукописей и напечатал. Новейшие исследования показывают, что это было не так. На самом деле до того, как книгу начали набирать, были предприняты перевод, редактирование, правка текста и даже сделаны вставки, происхождение которых нам еще не совсем ясно. Печатный «Апостол» более, чем рукописные, отвечал нормам разговорного языка, который существовал в Москве в дни Ивана Грозного; были заменены трудноразличимые гречизмы и уточнен перевод иностранных слов. Самое же важное было в том, «как редактор совершенно последовательно и планомерно отбрасывает южнославянские прописные нормы, прочно утвердившиеся в русской письменности с пятнадцатого века и далеко еще не изжитые и в его время, и позже»¹.

Есть все основания сказать, что федоровский «Апостол» — детище культуры всего века; книга вобрала достижения не только Москвы и Новгорода, но и многих стран и народов. Можно ли после этого вывода считать, что Иван Первпечатник, стоявший во главе всего предприятия, действовавший затем совершенно самостоятельно, был просто-напросто типографщиком? Почти полное отсутствие опечаток в «Апостоле» — не просто плод внимательного чтения, а итог высокой филологической образованности Друкаря.

Позднее, когда Иван Федоров перенес свое типографское имущество в далекие от Москвы западные земли, его называли Москвитиним. По всей вероятности, он и сам ощущал себя сыном Москвы. Так оно, разумеется, и было, ибо с Москвой связан выдающийся интеллектуальный подвиг Первпечатника, который не ограничился лишь редакторской и типографской работой. Мы в последние годы вдумчиво прочитали послесловие к федоровскому «Апостолу», которое, конечно же, было написано самим Друкарем.

По-новому зазвучали для нас слова послесловия о том, как по повелению царя Ивана Васильевича и митрополита

¹ Труды отдела древнерусской литературы. Т. XVII. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 228—229.

Макария началось подыскание мастеров печатных книг и был устроен дом, в котором можно было «печатному делу строиться». Очевидно, Иван Федоров и был среди тех, кого «изыскал» Макарий.

Если бы будущий Первопечатник был простым вдовым дяконом церковки Николы Гастунского в Кремле, едва ли Макарий остановил на нем свой выбор — дело было слишком ответственное, требовавшее громадных знаний и умения. Всеми этими достоинствами обладал герой. Все восхищаются красотой федоровских книг. Уместен вопрос: кто рисовал для «Апостола» и последующих изданий гравюры, заставки, инициалы-литеры? Считали, что трудилась группа художников и граверов. От этого мнения исследователи не отказываются и сегодня. Но подробный анализ стиливых признаков шрифтов и украшений привел ученых к почти единодушному выводу о том, что Иван Федоров сам рисовал и сам гравировал. Рука одного мастера обнаруживается везде — от Москвы до изданий в западных славянских землях. Такого мнения, в частности, придерживался лучший знаток книги в Москве академик А. А. Сидоров.

Новое обоснование получает предположение о том, что Иван Федоров — происхождением, быть может, новгородец, как и Макарий, последний кипучую свою просветительскую деятельность, связанную с книгой, начал на берегах Волхова. Возникла еще мало проверенная версия, связывающая раннюю юность Ивана с Краковом и его университетом, в который иногда попадали и выходцы из восточнославянских земель. Был в Кракове в конце пятнадцатого века достопамятный эпизод, когда печатались книги кирилловского шрифта. Так что наш московский Первопечатник в свете этих событий выглядит как преемник общеславянских культурных традиций.

Послесловие в федоровском «Апостоле» — изысканный образец официального стиля. Ни одно слово в нем не было написано «от себя», оно звучит, как торжественная грамота, объявляемая народу с Лобного места на Красной площади. Именно московское послесловие дает право считать Друкаря писателем в том смысле, как понималось книжное искусство в шестнадцатом веке. Здесь надо сделать следующее пояснение. Предисловие или послесловие были литературным жанром, который сейчас тщательно изучается, они многое дают

для уяснения того, что происходило, как появилась на свет, по какому случаю, с какими событиями в жизни земли или автора, переводчика, переписчика, редактора, составителя рукописная книга была связана. В первом федоровском издании сообщается, что «повелением благочестивого царя» отпущались деньги на типографию, подчеркивается, что во всей Великой России ведется строительство храмов, которые самодержец украшает «честными иконами и святыми книгами». Таким образом давалось понять, что возведению печати придается государственное значение, а книга приравнивалась к храму и иконе. Читатель мог узнать, что сам царь приставил к делу «диакона Ивана Федорова да Петра Тимофеева Мстиславца». Далеко смотрел Первопечатник! Оно — федоровское послесловие — должно было внушать читателям мысли о том, что книгопечатание — не частное начинание, а дело, которое утвердили высшие власти, то есть царь и митрополит. Кесарь и высшее духовное лицо. На современников послесловие, написанное Иваном Первопечатником, произвело большое впечатление — о нем помнили и много десятилетий спустя. В одной из книг, напечатанных в семнадцатом веке, вспоминалось, что при Иване Грозном «некии хитрии мастера явишася печатному сем делу» и назвались фамилии «Ивана-диакона да Петра Мстиславца», именно от них «начашася быти печатные книги, и поиде книжное исправление в русской нашей земле».

После выхода «Апостола» стал неутомимый Иван готовить к выходу «Часовник» — по этой книге учили детей грамоте. Но беспокойно было в Москве. Простой люд роптал, терпя притеснение со всех сторон. Царь повздорил с боярами, объявил вельмож лютыми недругами и уехал из Москвы в Александрову слободу и там вершил суд-расправу. В Белокаменной воцарился страх. Когда напечатали «Часовник», мастер даже поцеловал книгу — думал, что не успеют выпустить, нагрянет беда. Выглядел «Часовник» скромнее, чем «Апостол», но так и должно было быть — он ведь предначначался для тех, кто делает первые самостоятельные шаги в жизни. Но инициалы-буквы привлекали своей затейливостью. Печать была двухцветной. Книгу многим хотелось иметь, и поэтому «Часовник» отпечатали еще раз. С гордостью держа «Часовник» в руках, Иван перечитывал то, что совсем недавно написал он рукой. Литеры-буквы сооб-

щали: «Окончена эта книга подвигами и тщанием, трудами и снисканием...» Эта речь для Ивана пела, как золотая труба.

Полностью не прояснены причины отъезда Ивана Первопечатника из Москвы. Ныне отброшена мысль о том, что переписчики увидели в типографии опасного соперника. Но совершенно ясно, что Москва времен опричнины была мало-подходящим местом для просветителя. Молодой и дерзкий Андроник Невежа предлагал идти в Александрову слободу искать защиты. Но кто знал, какой прием там будет? Проще простого угодить в руки опричников. Нет, надо искать другие места. Но Федоров отговаривать Андроника не стал, подарив ему многое из своего имущества.

Отъезд не был внезапным, Друкарь бережно уложил все типографские материалы, которые и спустя много лет сослужили свою верную службу. Все типографское богатство было с ним: рамки, граверные доски, инициалы, краски...

Дороги узенькими цепочками пролегли через непроходимые леса, кишмя-кишешные зверьем. Ехавшему на подводе с имуществом приходилось опасаться всего — и лихих людей-разбойников, и непогоды, и бездорожья. Больше всего тревожила Ивана Федорова мысль о том, как примут в далекой Литве. Петр Мстиславец, когда случилось следовать обоим пешими, успокаивал содруга, напоминал, что в Литве, конечно же, есть люди, чтящие славянскую книгу.

На чужбине незнакомца встречают по одежде. Но для Ивана дорог был не нарядный кафтан, а его типографское дело. Слава же о золотых руках мастера-друкаря докатилась из Московии и в Литву, где жило много русских, украинцев, белоруссов. Было для кого печатать книги! Именно здесь начали уважительно Ивана именовать, помня о его московских печатных делах, Иваном Москвитиным.

Стал Иван Печатник Иваном Друкарем Москвитиным.

Ивана Друкаря ласково принял и беседовал с ним Сягизмунд-Август, король польский и великий князь литовский. Пришельцев из Московии приютил старший воинский начальник гетман Григорий Ходкевич, решивший в белорусском имении Заблудове, что возле города Белостока, основать друкарню-печатню. Московские мечтатели — делатели книг нашли приют и поддержку, взялись горячо за работу. Целыми днями возились они с бумагами и книгами, с родными литерами, вчитывались в набираемые слова.

Иван постепенно успокоился и охотно показывал книги, привезенные из Москвы. Григорий Ходкевич увидел, что Иван — великий мастер, и подарил ему «немалую вещь» — большую деревню. Доброе деяние оказалось, однако, мимо-летным. Когда у гетмана худо пошли хозяйственные дела, пришлось закрыть печатню, требовавшую больших расходов. Но Друкарь был не из тех, кто даром теряет время. Ему удалось закупить немецкую и венгерскую бумагу и московским шрифтом (тем самым, что и «Апостол») набрать «Евангелие учительное». Предусмотрительный Москвитин поставил над буквами ударение, чтобы читатели, живущие среди много-язычного населения, правильно произносили слова. И памя-та была кпига еще тем, что в последний раз пришлось Ива-ну работать с давним другом — Петром Мстиславцем. Его пригласили к себе братья Мамоничи, вместе с ними Мстисла-вец открыл в Вильно типографию. Мстиславец ушел, как и в Москве Андроник, не с пустыми руками. А Первопечатник вынултил в Заблудове еще две богато украшенные книги.

Не мог жить Друкарь одной сытой земпостью, без лю-бимого кпижного дела — оно стало дороже жизни. Когда ему говорили, что, имея вещь, деревню, он может жить, как пац, Иван гордо отвечал, что надлежит ему рассеивать ду-ховные семена по свету и «всем по чину давать духовпую пищу».

Что же делать Первопечатнику в деревне? Снова сложил он свой домашний скарб и типографское имущество и отпра-вился в дальнюю дорогу, не боясь свирепствовавшей в окру-ге моровой язвы, в славный город Львов.

...Богат Львов, но мецената, покровителя здесь не было. Словно милостыню вымаливал Иван Федоров деньги у горо-жап на печатню: богатые отказали, бедные поддержали. И на собранные деньги заводит Москвитин-мастер печатню во Львове в 1574 году. Он переиздал московского «Апосто-ла», украсив его даже богаче, чем в Москве! На полях кни-ги поместил он примечания-справки. Тираж удалось отпеча-тать немалый, думается, 1000—1200 экземпляров. С этого славного года начало вести счет украинское печатание, бы-стро набравшее силу.

Много волнений пришлось испытать Первопечатнику на чужбине, но знал Иван Федоров, что здешним простым лю-дям, стремившимся приобщиться к книжной светлости, он

нужный, полезный человек. Он понимал, что для него быть в мире — значит запечатлеть существование свое с помощью книг, которые вечны.

Довелось странствователю побывать и в далеких землях: и в равнинной Валахии, и в людном польском городе Кракове, и у подножья Альп, и на Дунае, и в «украшно-украшенном» городе Вене... Поглядел Иван Друкарь на книги разные, простые и затейливые, толстые и тонкие, с послесловиями и без оных... И еще больше набрался книжной мудрости, обрел умение и новые знания, которым, как он убедился, нет конца.

Ехал в Краков через Львов московский купец и, остановившись на отдых, зашел к Ивану Москвитину. Тот порадовался. Достал купец из кованого сундука книгу и похвалился:

— Нерукотворная.

Иван Друкарь и сам сразу увидел, что книга не рукой писана — напечатана. Открыл наугад ее посредине и сразу бросились в глаза знакомые буквы-литеры... Обрадовался Иван Друкарь, словно давнего друга встретил: ведь книгу печатал его помощник еще по «Апостолу» в Москве — Андроник Невежа, перебравшийся из боярской Москвы вместе с печатней в опричную Александрову слободу. Не пропали книжные семена, брошенные Иваном в московскую землю. Поднялся хрупкий росток, не сгубили его заморозки, будет и впредь укореняться в земле, станет когда-нибудь могучим деревом. Так и книжное учение — начинается с малого, с буквы, одного слова, а открывает великое.

Словно молния над Карпатами озаряет голову мысль: надо издать книгу для «скорого младенческого научения». Азбуку, книгу для всех. Много еще в русских, украинских и белорусских землях людей, что глядят в книгу как слепые — читать не умеют. Букварь нужен!

Писать первый учебник было некому. Иван сам взялся за работу. Если в прежних изданиях он переводил, редактировал, набирал и печатал слова, написанные в старых — при дедах и пращурах — рукописях, то здесь сочинительство — его дело.

Благо, во Львове было много книжных собраний, да и побывав в краснокирпичном Кракове, других городах и землях, трудолюбивый Москвитин не устал заглядывать в

места, где лежали книги, одетые в кожаные переплеты, украшенные золотым тиснением.

Тщательно писал-рисовал Иван буквы, находил упражнения, примеры, чтобы младенцы учились не только письму — буквам и цифрам, — но и добрым делам, светлым мыслям.

Позаботился Друкарь и о красивых заставках-виньетках. Книга получилась на славу. А в самом ее конце премудрый автор поместил прочувствованное обращение к «возлюбленному русскому народу», советуя всем учить детей грамоте. И теперь его слова читать — не начитаться. Вся книжная мудрость в них.

Так родился наш первый печатный учебник. Пройдет немного лет — и во Львове, Остроге, Вильно, Киеве, Черпигове появится целое семейство всевозможных Азбук, Грамматик и всяких словарей. Всем им отец — Иван Друкарь. От его букваря и пошли все другие буквари в Москве да и в других городах.

Есть предположение, что Иван Федоров напечатал Букварь тиражом в две тысячи экземпляров. Всего скорее, так и было. Но Букварь выпускается не для того, чтобы стоять на полке. От старших он переходит к младшим, да и при заучивании он находится все время в движении. Грамматика Ивана Федорова исчезла из обращения, и долгое время у нас о ней даже не знали. В апреле 1954 года историк М. Н. Тихомиров, выступая в Академии наук, сообщил, что в библиотеке Гарвардского университета в США найдена неизвестная ранее книга, принадлежащая перу и тиснению Ивана Друкаря. В связи с этим академик А. А. Сидоров писал, что обнаружение Букваря, книги для обучения грамоте, в значительной мере изменило все представления о роли, деятельности и фигуре Ивана Федорова, которого «мы знали как печатника и гравера», сейчас же он «получает место среди просветителей-педагогов». Теперь наши издательства любовно переиздают федоровский Букварь, и его всегда охотно библиофилы раскупают.

Нелегко жилось Федорову в богатом и людном Львове, и он был рад, когда князь Константин (Василий) Острожский решил в родовом замке завести печатню. Собрал Иван типографские пожитки (буквы-литеры стали родными и близкими) и перебрался в Острог.

О богатствах замка ходили легенды. Но дорожке бочек с золотыми и серебряными слитками, оружия и конской сбруи, усыпанной жемчугами, была здешняя библиотека, в которой были собраны книги со всей Европы. Встречались здесь и славянские первопечатные книги, изданные в Венеции, Праге, Кракове... С жадностью склонялся над ними Иван Москвитин, охотно приобщаясь, как в молодости в Москве, к словесной мудрости. Зрели в душе мечты о новых изданиях.

Многое удалось сделать Ивану Федорову в Остроге, имевшем славу «волынских Афин», ибо действовал в замке «триязычный коллегиум», своего рода академия, в которой изучали риторику, диалектику, астрономию... Все таланты Первопечатника раскрылись в полном блеске.

Первым изданием, появившимся стараниями Друкаря, была книга для чтения, открывавшаяся греческим алфавитом. Далее шел двуязычный греко-славянский текст для тех, кто взялся изучать язык, имевший у нас такое же значение, как в других странах Европы латынь. Впервые выпустил кириллическую книгу с греческими шрифтами, Иван Москвитин первоосновой для иностранных букв взял шрифты Альда Мануция. По всей вероятности, «альдины» были в библиотеке замка. В том же 1578 году Иван Москвитин вновь напечатал львовскую Азбуку, поместив приложением сказание-трактат болгарского монаха Храбра о Кирилле Философе и Мефодие, создавших кириллицу. Эта небольшая книжечка малого формата — разговор в веках. Первопечатник таким образом беседовал через столетия с теми, кто начертал славянские буквы, с Первоучителями. Копечно, читая об испытаниях, которые выпали на долю солунских братьев, Друкар укрепился духом, мечтал послужить тем, кто жаждет «книжного света».

Среди других изданий словно бы и затерялся скромный листочек, на котором были напечатаны стихи-вирши, посвященные каждому месяцу. Месяцы были обозначены в календаре на трех языках, помечены были и даты, которые представлялись наиболее важными. Стихи — двухстрочные — для календаря Ивана Федорова написал молодой тогда белорусский поэт Андрей Рымша, очевидно, учившийся в Остроге.

Случилось это лет четыреста назад, точнее — 5 мая

1581 года. От этого дня и ведут начало наши печатные календари. Друкарь понимал, чего ждут от него люди.

Многое удалось сделать в жизни Ивану Первопечатнику. Но пожалуй, из всех его дел наибольший успех выпал на долю изданной им книги, которая получила наименование Острожской библии. Она самая знаменитая среди других первопечатных славянских книг. Лучшие библиотеки мира гордятся ею и ныне, как чудом типографского искусства.

Вот лежит она на столе передо мной, напоминая парусник, переплывший океан. Волны времени оставили свои пометы па страницах, еще помнящих прикосновения рук Друкаря. Печатных знаков в ней больше, чем во всех предыдущих изданиях Друкаря, если их сложить вместе.

Чем же отличается от других федоровских книг Острожская библия?

В нее Первопечатник вложил все свое умение, мастерство. Всем взяла эта книга — и толщиной (в ней свыше шестисот листов!), и шрифтами, и заставками, и концовками, и разнообразными орнаментами-узорами... В ней герб князя Острожского и печатный знак Федорова. Один книжник, англичанин, посмотрев Острожскую библию, воскликнул в восторге, что за лист этой книги он бы отдал всю Англию. Восторг современников понятен — никогда еще славянские книги не печатались с таким мастерством. Только шрифтов было использовано шесть, в том числе два греческих, — дело неслыханное и невиданное. Литеры-буквы — красивые, мелкие, крупные, убористые. Острожские шрифты заметно отличались от московских, ибо Друкарь и его содружки обратились к местным волынским традициям: буквы светлее, мягче, чем в предыдущих изданиях, они производят, когда видишь страницу в целом, впечатление стройного хора.

Часть книг из Острога была послана в Москву, и, видимо, понравились они Ивану Грозному. Царь охотно дарил Острожскую библию знатным иностранцам. Так, один экземпляр как величайшая драгоценность был подарен Иваном Грозным английскому послу и увезен последним в Лондон. В течение нескольких лет Острожская библия попала в многочисленные славянские города-монастыри, а также в Рим, Париж и Гамбург.

Владельцы берегли ее как зеницу ока. Поэтому большее число экземпляров дошло и до наших дней. И ныне она

своим внушительным видом славит дело рук Друкаря, если даже отдельные листы закапаны воском.

Современные Ивану Федорову типографы, жившие в Западной Европе, любили на книгах печатать латинское изречение: «После мрака на свет уповаю».

Друкарь Москвитин мечтал завести собственную печать и выпускать книги для того, чтобы они вразумляли умеющих читать и слушать. Сделать этого ему не довелось.

Иван Федоров умер бедняком, но навсегда прославил себя и книги, несшие через века богатство духа. Поражает характер Друкаря, посвятившего жизнь без остатка книге; это ставит его в ряд с самыми выдающимися фигурами средневековья.

На могильной плите во Львове друзья Первопечатника выбили на камне его книжный знак и сделали следующую надпись, читаемую так:

«Иоанн Федорович, друкарь Москвитин, который своим тщанием печатание небывалое обновил. Преставился во Львове, год 1583, декабрь 6».

Так закончилась большая жизнь...

Плита на могиле не сохранилась, но надпись дошла до нас.

Книги Ивана Федорова оказались поистине бессмертными. Духовные семена, которые Иван Друкарь щедро рассыпал по свету, дали могучие всходы. Каждая книга напоминает нам о Москвитине.

Москва навсегда сохранила память о Первопечатнике, навсегда оставила у себя прославленного мастера...

Стоит в центре Москвы памятник Ивану Федорову, на зеленом московском холме, на высоком черном с голубоватыми искорками камне...

* * *

Довелось, став памятником, вернуться Первопечатнику в Москву, книги его теперь знает вся Земля. А его немногочисленные послесловия, отличающиеся краткостью, его изречения — образцы письменности памятных лет, когда книга начала свой триумфальный поход в восточнославянских землях.

Новое время оценило Друкаря высоко. Когда стали создавать советский наборный орнамент, то обратились к мотивам федоровских украшений. Еще раз его работа послужила стране.

Глубок по смыслу федоровский книжный знак. Лента—знак, означающий реку. Еще в киевские времена, вспомним, книги называли реками, напоющими Вселенную мудростью. Стрела же над лентой-рекой мчится вдаль времен, как и книги, созданные Первопечатником.





Два портрета

АФАНАСИЙ НИКИТИН

А если города не все писал,
то ведь много городов великих...
Афанасий Никитин



Когда я выхожу на волжский берег и перед глазами распахивается простор, вольная-волюшка — с ее плесами, лугами, озерной гладью, полетом чаек, белыми теплоходами-лебедями, песчаными золотистыми откосами, то былого картины встают перед мысленным взором. Проплывают, как наяву, парусники-расшивы, горят рыбацкие костры у ивняка, скользят на стругах новгородские ушкуйники, гуляет бурлацкая ватага, Минин и Пожарский ведут раздолом Нижегородское ополчение... А теперь перед «духовными очами» — фигура легкого на ногу человека, повторяющего вполголоса: «Поидох на низ Волгою...» Много выдающихся лиц породили волжские берега, по в сонме

героев не затерялся, не стал привычно незаметным Афанасий сын Никитин, что «написах грешное свое хождение за три моря: пръвое море Дербеньское... второе море Индейское... третье море Черное...»

Полсвета исходил Афанасий Никитин, повидал такие дивные дива, что даже сказочники-бахари не нашепчут в волшебных снах под полуночный вой व्योги в трубе... Обо всем увиденном странствователь не утаил. Его путевой дневник-хождение, написанный языком сочным и красочным, сразу же полюбили и стал явлением средневековой культуры, как палаты и терема «Твери той старой, Твери той богатой»; как создавшийся в никитинскую пору Московский Кремль; как белокаменные барельефы на Спасских воротах неутомимого Василия Ермолина, как «умозрение в красках» Андрея Рублева... Недаром говорят, что «Слово о полку Игореве» — наша «Илиада», «Хождение за три моря» — наша «Одиссея». Личность великого странствования приобретает в нашем понимании особый вес, если мы вспомним о том, что он действовал на пороге такого крупного исторического явления, как великие географические открытия XV—XVI веков. Уходила в прошлое вселенная античных авторов, а география начинала для наиболее прозорливых выглядеть как «глаза истории», хотя даже атлас древнего мира был еще далеким будущим.

Приключения, испытанные Афанасием Никитиным за долгие почти шесть лет, с 1466 по 1472 год, достаточно хорошо известны, да и сам тверской землепроходец стал героем поэм, живописных полотен, фильмов... На тверском берегу Волги ныне возвышается его бронзовое изваяние на граните, венки к которому возлагают восточные да и западные гости.

К старой Индии интерес у нас с годами не угасает. Свидетельством этому может служить заметка из Мадраса, напечатанная «Правдой» 3 января 1983 года: «Индию справедливо называют страной храмов. Их здесь десятки тысяч. Некоторые из них необычны. К примеру, храм Виттала в городе Хампи в штате Карнатака. 56 гранитных колонн, подпирающих каменную крышу королевского зала без наружных стен, издают при ударе по ним рукой или каким-либо легким предметом звуки бубна, барабана, а также духовых и струнных музыкальных инструментов. Музыкальные зву-

ки издают также колонны пещерного храма Махавира в Эллоре (штат Махараштра), сооруженного в 814 году, и несколько колонн в грандиозном храме Минакши в городе Мадурай (штат Тамилнад). Причем колонны храма Минакши для получения звукового эффекта нужно не ударять, на них нужно нажимать ладонью. Загадкой для строителей и специалистов, по свидетельству газеты «Нэшнл геральд», остается технология изготовления кирпичей, из которых выложен фундамент храма Раманна в городе Варангал (штат Андхра-Прадеш). Обожженные особым образом, они совершенно не боятся влаги, не тонут в воде и выдерживают огромные нагрузки. Удивляет посетителей форт из красного песчаника в городе Агра. В крепостную стену вмонтировано круглое зеркальце размером с двухкопеечную монету, в котором ясно отражается мавзолей Тадж-Махал, расположенный... в нескольких километрах от города». Так «чудеса Индии» выглядят сегодня. В дни Афанасия Никитина явь для путешественников была подобна волшебной сказке.

Я не буду подробно пересказывать приключения и злоключения Никитина, ибо дневник ходебщика-тверитянина — всем доступное чтение, существующее в самых разнообразных переложениях и переводах, хотя и подлинный текст, такой, каким его первым увидел пытливый и знающий Николай Михайлович Карамзин в библиотеке Троице-Сергиева монастыря, вполне понятное произведение, особенно если вдумываться в каждую поистине драгоценную никитинскую строку.

Мне хочется обратить внимание на такую черту характера землепроходца и повествователя, как его поразительное проникновение в «чужое», умение стороннее воспринимать как «свое», оставаясь самим собою, человеком из Твери, волжанином, глубоко почитающим Москву, размышляющим в «грешном своем хождении» о земле родной.

Всегда важно, откуда происходит писатель, каковы места его породившие. Тверь стояла на пути из Новгорода в Суздаль, на большой водной дороге, учившей общению со всем миром, ремесленной, торговой и всякой иной сметке. Однажды переяславцы, враждовавшие с Новгородом, захватили Тверь и прекратили подвоз хлеба на берега Волхова — в Новгороде начался голод. Соперничая с Москвой, Тверь развивала свою школу зодчества, живописи и литературы.

Много было достигнуто. Здесь была переписана и богато иллюстрирована «Хроника» Амартола, то есть Грешника, давнее сочинение, излагавшее в полубеллетристической форме события истории от «сотворения мира» до девятого века. Этим сочинением долго пользовалось наше средневековье. Семен Тверской написал остроумную притчу, заканчивавшуюся социально острой мыслью: «Князь во ад и тиун (его наместник) с ним во ад!» Иноку Фоме принадлежало «Слово похвальное тверскому князю Борису Александровичу», отмеченное большой книжной культурой, вводившее героя в круг мировых персонажей, что свидетельствовало и о величии города на Волге. Славились в Твери ремесленники, лившие колокола и пушки, что и в «немцах», то есть у иноземцев, не сыщешь, резавшие камень, как репу, умевшие строить суда, бороздившие волны на малых и великих реках. До наших дней сохранилась рогатина Бориса Александровича Тверского, воспетого Фомой, — надпись и фигуры на бердыше выполнены с мастерством. Поныне эта рогатина — образец художественного оружия пятнадцатого века. Тулья восьмигранной формы обложена серебром и покрыта изображением сцен охоты и княжеской жизни, по ребрам пропущен орнамент, состоящий из лент и завитков. Писатель Фома не забывает почтительно сообщить, что его князь «царевым венцом увязеся».

Заметная фигура в Твери — купец, особенно из числа тех, что ездили с товарами по белу свету. Торговый гость был, должен быть одновременно землепроходцем, дипломатом, воином; он должен был уметь сходитьсь с людьми, ладить с ними, считаться с обычаями и особенностями мест, куда приводили путь и судьба. В дорогу брали самое необходимое, и примечательно, что Афанасий Никитин, оказавшись на чужбине, сетует не столько на то, что он очутился среди тех, кого «отпустили голыми головами за море», а главным образом на то, что «а книг у меня нет, коли мя пограбили, и ни книги взяли у мене...» Для тверитянина книга — «останняя весть» родной земли, последнее прибежище.

Афанасий Никитин в путевом дневнике молчит скромно о своем прошлом, но, несомненно, он был еще и книжным мужем. За это говорит не только его безукоризненная грамотность, но и общепринятые в хождениях меры обозначения. Расстояние, например, считается им по дням, прове-

денным в пути; на каждой странице — точное указание пройденных мест. Есть одновременно косвенные, но довольно убедительные доказательства редкостной начитанности путешественника. Какая сила вела его вперед и вперед, несмотря на смертельные препятствия, стихийные и разбойничьи беды? Опасность подстерегала странника на каждом шагу: на Волге гуляли ушкунники и золотоордынцы, в степях — нагайцы. Черное море кишело средиземноморскими пиратами... Что ни шаг — опасность. Путник зависел от дождя, ветров, солнца. После ограбления было у него денег кот наплакал. Конь — все его богатство. Что же заставило Афанасия Никитина все-таки миновать реки, горы, моря, опасные земли? Ведь куда проще было с Волги вернуться домой.

Средневековье — русское и западное — грезило Индией, мечтало ее найти, как обетованную землю сокровищ. Двадцать лет спустя после Афанасия Никитина Христофор Колумб открыл Новый Свет, думая, что нашел наконец дорогу в Индию. Здесь, кстати говоря, уместно вспомнить замечание Александра Гумбольта, так прокомментировавшего в «Картинах природы» одно из писем Колумба из дальнего путешествия: «Оно представляет необыкновенный психологический интерес и с новой силой показывает, что творческое воображение поэта было свойственно отважному мореплавателю, открывшему Новый Свет, как, впрочем, и всем крупным человеческим личностям».

Через четверть века после Афанасия Никитина в Индию на кораблях, пристав к Малабарскому берегу, добрался Васко да Гама, португальский мореплаватель. Вскоре последовало разорение Калькутты и началось колониальное захватничество в южноазиатских морях. У многих западных путешественников были корыстные цели. Васко да Гама не просто устанавливал прямые торговые отношения, он стал вице-королем Индии.

В «Хождении за три моря» ни одно слово не сказано всуе. Положение спутников, ограбленных в дороге, Афанасий Никитин определил так: «...тот пошел на Русь... Тот пошел куды его очи понесли». Повествователь оказался среди последних, но из всех происходивших далее событий видно, что он, ни на йоту не отступив от замысленной еще дома цели, стремился попасть в Индию и шел к сказочной земле,

не страшась неудач и гибели. Все, что не касалось главного, связанного с желанием увидеть собственными глазами страну, где «мужи и жены все черны», занимает странника лишь попутно. Перед его цепким взором прошли берега Волги и ее дельта. Паломник деловито отмечает, что из Дербента пошел в Баку, где «огонь горит неугасимо». Потом — каспийские степи, крутые горы Закавказья, наконец, Иран... Нет, он не закрывает на окружающее глаза, но предельно скуп на подробности. Мы, читатели, разумеется, запоминаем Тверь с ее впечатляющим Спасом златоверхим, людную Кострому, где была получена необходимая в пути проезжая грамота, обширный Новгород, куда прибыл посол владетеля Ширвана, везший от Ивана III подарок — крестов, дорогую охотничью птицу... Все это — черточки-точки, беглые «карандашные» записи между прочим, мимоходом. Почти наверняка можно сказать, что увиденное в первую пору далекого путешествия не было для Афанасия новинкою. Иначе чем объяснить смелость и деловитость, с какой тверитянин вел свое «грешное хождение за три моря»? Волга для него была родной рекой, но, видимо, и ранее он побывал в далеком Закавказье или по крайней мере в Каспийских землях. Не исключено, что Никитин видел Константинополь. Об этом заставляет подумать содержащееся в «Хождении» сопоставление статуи Будды со скульптурой императора Юстиниана, что стояла в Константинополе. Вел ли Никитин в путешествиях дневник? Об этом едва ли мы когда узнаем. Из его уцелевшего сочинения видно, что тогдашнее землеведение он знал так, как наиболее осведомленные люди средневековья.

Смелчак обладал поистине адским терпением, ибо почерпнуть знание Ближнего Востока он мог только из длительных и дотошных разговоров с местными жителями, будь то пышно одетые восточные послы, торговые гости или те, кто ходили нагими, лишенными всякой рухляди — имущества-доставка. Но разговоры разговаривать можно, лишь владея восточными языками, что в Древней Руси было довольно-таки редким делом. В Твери их освоить было затруднительно. Или учил его какой-нибудь заезжий купец? Раздумья над текстом записок этого не подтверждают. В конце пятнадцатого века слово «бесурмения» значило — «мусульманин». В Ипатьевской летописи было сказано, что Кончак обрел

«мужа такого бесурменина», иже стрелял «живым огнем». Летописец говорит в данном случае о мусульманине, пришедшем на службу к половецкому хану. В этом же смысле употребляет слово и Афанасий Никитин. Ей-ей, не впервой бывал он за хребтом Кавказским,



«Хождении за три моря» постоянные споры вызывают периоды-вставки, написанные, как тюркологами теперь доказано, на татарском и таджикском языках, — ими Афанасий Никитин владел свободно. Более того, лингвисты утверждают, что восточный словарь землепроходца включал в себя тридцать—сорок индийских слов. Ученые по-разному оценивают эти ориентальные переходы. Одни считают, что купец хотел спрятать-зашифровать свои мысли-наблюдения; другие склоняются к выводу, что, оторвавшись от привычного быта и книг, он «в вере зашатался»; третьи видят в них некоторые литературные излишества, желание блеснуть восточной образованностью; четвертые почитают торгового гостя просто-напросто «агентом Москвы», практиковавшимся пользы ради в языковых премудростях; существует также мысль и о том, что перед нами своеобразное «плетение словес», литературное течение, олицетворяемое Пахомием Лагофетом, чей стиль отличался торжественностью, хотя — скажем прямо — точность и скупость всего прочего текста прямо-таки противостоят причудам «украшеноукрашенного» стиля, в котором упражнялись схоласты.

Михаил Николаевич Тихомиров, академик, в отзыве на одну работу писал, что надуманностью отличаются соображения о том, что Афанасий Никитин «не был ни бусурманином, ни христианином», а своего рода тенстом, каким-то представителем вольподумства — «Вольтером XV века». Вывод, опровергаемый Тихомировым, делался на основании никитинской фразы о том, что «единый бог... бог общий для всех народов». Тихомиров пишет, что дьяки Посольского приказа в Москве, отвечая на упреки турецких султанов

о преследовании мусульманской веры, признавали право мусульман держать мечети, замечая: «всякой иноземец в своей вере живет».

Отправляясь на Восток, Афанасий Никитин знал, куда он хочет добраться. При его пытливости и любознательности едва ли он мог не знать распространенное «Сказание об Индийском царстве», своего рода переводную утопию о стране богатства и всеобщего довольства, пришедшее к читателю давно, но особенно полюбившееся в пятнадцатом веке, когда в людях проснулся жадный географический интерес к далеким мирам. Тем, кто страдал от феодальных распрей, от набегов, разбоев и пожаров, от своих и чужих лихоимцев, татей и ушкуйников, от неправды в судах, холода и мора, было необыкновенно увлекательно читать о земном рае, именуемом Индией, где даже небо стыкуется с землею, где царствуют справедливость и богатство, где нет ни татей, ни разбойников, ни даже завистливых людей, ибо кругом обилие и достаток. Кроме того, едва ли не с киевских времен бытовала в народе былина о Дюке Степановиче, богатом госте из Индии, которого заподозрили в неумном хвастовстве, но потом наглядно убедились, что чудес и роскоши его далекой страны описать невозможно.

Веками складывались и бытовали устно и рукописно всякие восточные рассказы — в них верили и не верили, как в говов и магогов, заклепанных Александром Македонским в горах. Будто бы через Индию течет река Геон (Ганг?), несущая с водами драгоценные камни, среди которых есть и такой, что светом ночь превращает в день. Подойти к реке, однако, нельзя, ибо ее сторожат существа, чье тело наполовину песье, наполовину человечье; есть там, в Индии, птица-человек, великаны (в девять сажень!) и пигмеев, совсем крошечные существа; есть люди шестирукие и четырехрукие, есть такие, что глаз имеют на голове... Встречается в Индии родник, что бьет у подошвы горы; тот, кто три раза в день пригубит воду из ключа, навсегда останется тридцатилетним. Необычно велик в Индии царский дворец; чтобы добраться до одного его конца, надо ехать день-деньской. Есть в этом дворце палаты золотые, серебряные, жемчужные. А пиры задаются такие, какие не снились и самому Владимиру Красное Солнышко. За обедом и ужином одного перца расходуется не менее четырех бочек. Своими прыно-

стями Восток манил не только Русь, но и Западную Европу, и ценились они — перец, корица, кофе — довольно высоко, были лакомством, приправой па обедах у знати.

Такого тертого калача, как Афанасий Никитин, провести рассказами, какими бы они завлекательными ни были, было невозможно. Ко всякой неправде он относился сурово осуждающе и в этом следовал заветам отцов. Мы слышим в повествовании его негодующий голос: «Меня залгали псы бессермены, а сказывали всего много нашему товару...» Не сразу и не вдруг подружился Никитин с загадочными людьми в чужой земле. Сначала он чувствует себя дикийным существом, вызывающим общее удивление. Впрочем, на непохожую жизнь дивится и он сам: «...и люди ходят наги все, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу плетены... яз хожу куды, ино за меня людей много, дивятся белому человеку».

Великие исторические деяния нередко совершаются просто и предстают перед их деятелями в бытовом обличье. Запад встретился с Востоком. Если бы современники понимали следствие своих поступков! Землепроходец глядел далеко вперед, адресуя «Хождение» не столько людям времен возведения Московского Кремля (кто тогда мог понимать восточные письма?!), сколько их просвещенным потомкам. Надо было бы из пушек палить в Москве, Твери, на берегах Ганга по поводу явления гостя, который запечатлеет кириллицей прекрасное мгновение, — Запад и Восток сошлись лицом к лицу... Поражают не недоразумения, не удары судьбы (кто и когда их полностью избежал?), а то, что заморский паломник, придя с равнин Волги, обрел общий язык со «многими индсеянами». Никитин поясняет, что нашел подход не обманом, а искренностью и простосердечием — «сказах им веру свою». Добродушие и уживчивость породили ответный отклик: «они же не училися от меня скрываться ни в чем, ни в еде, ни в торговле, ни в молитве, ни в иных вещах, ни жон своих не учили скрываться».

Для полной ясности напомним о путях и временах. Как выше я сказал, хождение происходило в 1466—1472 годах. В Иране, куда он добрался Каспием, прожил около года. Аравийским морем доплыл до Индии в 1469 году. Есть и другие подсчеты. В «стране чудес» был около трех лет.

Как жемчужное ожерелье, разворачивает соотечественник

перед нашим взором пышные картины жизни Индии, вчера еще сказочной, а ныне в разнообразнейших красках представшей перед глазами. Все непривычно прищельцу. Зима у них стоит с троицына дня. В пору воды и грязи сеют пшеницу, другое зерно и все съестное. Вино же держат в огромных кокосовых орехах, варят брагу, кушанья с маисом и сахаром... Зорко осматривает Афанасий всю панораму жизни, замечая социальное и национальное неравенство: «В Индейской земле княжат все хоросанцы, и бояре все хоросанцы, а гундустанцы все пешеходны, и ходят борзо, а все наги и босы, да щит в руке, а в другой меч, а иные слуги с великими прямыми луками да стрелами. А бой их все слоны, да пеших пускают наперед, хоросанцы на конях да в доспехах — и кони, и сами». Рисуется сцена, достойная сказочных историй об Индии богатой, читанных в теперь немислимо далекой Твери: слонам вяжут «к рылу да зубам» великие мечи кованые во много пудов, облагают их в булатные доспехи, а на спинах — «городки», в которых сидят по двенадцать человек — все с пушками и стрелами.

Средневековье в Индии, как и у нас, включало в себя, в бытовой обиход легенды, входившие в реальную жизнь, как явление действительности. Рассказав о базаре, на который (в пору русского Покрова) съезжается «вся страна Индийская торговати», Никитин сообщает, что есть в этой поразительной земле птица гукук — летает она ночью, кличет «гукук» — на которую хоромину она сядет, тут человек умирает; кто же захочет ее убить, того она обдаст изо рта огнем. Есть в записках вставная новелла об обезьянах, ходящих ратью на людей, бьющих челом на обидчиков обезьянскому князю... Речь идет о древнеиндийском эпосе, связанном с именем Рамаяны, легендарного предводителя войска обезьян и медведей, «обезьянского царя»; в Индии обезьяна была священным животным, которому посвящались храмы, а местные жители, задабривая божество, приносили всевозможные лакомства, в том числе вареный рис и сладкие плоды. Таково первое известие в русской литературе о великой эпической поэме Индии. Сюжеты «Рамаяны» веками на Востоке использовались народным театром. Не все в произведении открывается сразу и вдруг. Никитин, например, рассказывал о том, что людям вредят «обезьяны и маймуны». Кто такие «маймуны»? Путем сложных сопоставлений турецкого

и болгарского языков удалось выяснить, что маймуны — это мифические крупные обезьяны, обладающие нечистой, дьявольской силой.

Есть в «Хождении» страницы, заставляющие опять-таки вспомнить и «Сказание об Индийском царстве», где говорится о том, как царь идет на войну и перед ним несут драгоценности и блюдо с землей (своего рода аллегория на тему — все мы из земли и в землю уйдем), с ним несметное войско конников и пеших, не считая тех, кто везет за ними пищу. Афанасий Никитин подробно живописует воинов, с которыми выходят визири на рать, показывая пышность, богатство и блеск церемоний и потех. Многие напоминают также былинну о Дюке Степановиче. В районе Онеги в нашем веке была записана старина, в которой восхищенно говорится о богатстве матери Дюка-богатыря:

А выходит Дюкова-матушка,

А вить вся обсажена вить да в золоти,

А вить вся обсажена да в серебри...

Двор султанов, по описанию Никитина, куда не пускают иностранцев, выглядит так: «А двор же его вельми, все на вырезе да на золоте, и последний камень вырезан да золотом описан вельми чудно».

Так разворачивается перед восхищенными глазами индийская «Шехерезада». Тверской торговый гость несколько не напоминал Марко Поло, совершившего путешествие из Венеции в Пекин, и других любителей чудес и причуд Востока. В никитинском повествовании существует глубокое внутреннее течение, связанное с размышлениями о жизни, правде и вере. Один из самых драматичных эпизодов путешествия волжанина связан с правителем Асат-ханом, пытавшимся заставить паломника принять чужую веру, грозя отнять единственное богатство Никитина — коня. Беда — на счастье! — миновала тверитянина, и это было воспринято, как «Господарево чудо на спасов день!». Горестно восклицает пострадавший Афанасий: «братья русские христиане, кто хочет пойти в Индицкую землю, и ты остави веру свою на Руси...» Так в русскую литературу был введен мотив веротерпимости и свободы совести.

Постепенно мысли о Христе, Магомете, Будде начинают все больше и больше смущать и занимать северного странника, произносящего персидские, арабские, тюркские слова.

На какое-то мгновение сознание пронзает мысль, которую и произнести страшно; «А правую веру бог ведает». Напомню, что на дворе — пятнадцатый век, когда по приговорам инквизиции в Западной Европе публично сжигались еретики.

Распытывая окружающих о вере, Никитин пришел, как теперь утверждают индиологи, к приблизительно верному выводу: «А вер в Индии всех 80 и 4 веры, а все веруют в Бута (т. е. идола); а вера с верою не пьет, не ест, не жепится...» Но в «идольском храме», осматривая изваяния, волжанин, словно мимоходом, бросает сопоставление, «бухтана же вельми велика есть, с пол-Твери камня...» Мысль о далекой северной отчизне совпадает с горьким сожалением о том, что счет дней потерян и, увы, праздники не соблюдаются: «Иже кто по многим землям плавает, во многие грехи впадает и веры лишается...» Думая о том, что на Русь возвращаться не с чем, никакого прибытка он не нажил, Афанасий трогательно сообщает, что он «много плакал по вере». Пытаясь смирить муки совести, странник тоже говел и праздновал вместе с теми, кого, конечно, он считал иповерными. Нам кажется, что в этом ничего особенного нет, но стоит хотя бы приблизительно представить духовный облик человека того времени, чтобы понять мужество и дальнорочность писателя, твердо решившего уповать на здравый смысл. Недаром язык его — московская деловая речь.

С кем же поговорить на чужбине? С кем слово молвить? Что может напомнить о родной земле? Он поднимает глаза к небу и отыскивает созвездие Большой Медведицы, что стоит головою на Восток... Там — Волга, Кострома, Москва, желанная-желанная Тверь. Удастся ли их когда увидеть? словно подводя итог «грешному хождению», он подробно записывает, где какой климат («вельми варно»), где родится жемчуг, а где сладкий овощ... По-тюркски начертал Афанасий Никитин молитву: «Русская земля да будет богом хранима! Боже сохрани! Боже сохрани! На этом свете нет страши, подобной ей, хотя бояре Русской земли не добры. Да станет Русская земля благоустроенной, и да будет в ней сираведливость». Слова — подстать девятнадцатому веку, но не будем забывать, что перед нами перевод.

Созрело твердое решение любыми путями пробираться домой — «устремихся ум пойти на Русь».

Вернуться назад было еще труднее... Месяц плыл по

морю, не видя ничего, а «на другой же месяц увидели горы Ефиопские» — одно из первых упоминаний в русской литературе об Эфиопии.

Обратный путь был таков. Аравийским морем приехал к восточному побережью Африки, потом опять через Аравийское море: от Ормуза через Тебриз дошел к порту на берегу Черного моря — Трапезунду.

Много было бед и испытаний, прежде чем Афанасий Никитин «за 9 дни до Филипова заговейна» оказался в Кафе, нынешней Феодосии. Здесь невольничьи рынки были проплаканы слезами восточных славян, похищаемых за морем. Стоял 1472 год. Торговый гость шел в Тверь без золота-серебра, но бесценное богатство лежало в скудной котомке — записи, заканчивающиеся словами: «Милостию же божиею преидох же три моря».

Где-то, не доходя Смоленска, покоятся кости неутомимого волжашина. Подвиг его — страннический и литературный — был понят современниками. Никитинское «Хождение за три моря», первоначально попав в руки московского дьяка Василия Мамырева, было внесено в «Софийский временник» под 1475 годом, а затем и в летописный свод 1489 года, что явилось актом государственного признания.

Произведение обладает высокими литературными достоинствами, которые с годами мы ценим все выше и выше. Оно переведено на многие европейские и восточные языки. Восхищает почти разговорный деловой стиль, свободный от высокопарности. Фантастичны познания человека, принадлежавшего к торгово-ремесленной среде, читавшего и давнее (еще написанное в двенадцатом столетии!) «Житие и хождение Данила, русьские земли игумена» на Ближний Восток, знавшего об обезьяньем царе индийского эпоса, вмещавшего в голове своей едва ли не все географические познания мира, доступные в его время.

Славист Измаил Срезневский дал следующую характеристику труду нашего героя: «Как ни кратко записки, оставленные Никитиным, все же по ним можно судить о нем, как о замечательном русском человеке XV века. И в них рисуется... как человек не только бывалый, но и начитанный, а вместе с тем и как любознательный наблюдатель, как путешественник-писатель, по времени очень замечательный, не хуже своих собратьев иностранных торговцев XV ве-

ка... Рассказы ди Конти и отчеты Васко да Гама одни могут быть вровень с «Хождением» Никитина. Как наблюдатель, Никитин должен быть поставлен не ниже, если не выше современников-иностранцев».

Не остался за строками произведения и характер героя, хотя о себе повествователь говорит предельно скупое. Как и позднейшие страстотерпцы, этот энергичный и живо-неунывающий человек больше всего озабочен тем, чтобы сохранить «душу живу». Ложь и дурные поступки вызывают его яростное негодование, от кого бы они ни исходили. Он умеет, не подлаживаясь, уживаться с людьми, не кривя при этом душой. С укоризной замечает то, что ему не по себе «...а добрых правов у них нет, а сорома (стыда) не знают». Афанасий поражается, что финиками (на севере они стоили безумно дорого!) можно кормить скот, и ревниво осматривает шумные восточные базары, ища подходящий товар. Когда у него отнимают последнее богатство, коня, он все-таки не соглашается поступиться своими убеждениями, хотя и провидит грядущую гибель. Он из числа тех, кто — много позднее — пойдет во след Ермаку, перевалит Урал-камень и начнет хождения по бесконечным просторам Сибири, к далекому океан-морю. Среди ему подобных хочется назвать «Колумбов российских» — Мисюря-Мунехина, добравшегося до Каира, а также Дежнева, Хабарова, Челюскина, Шелехова, — чьи имена запечатлены на географических картах.

Родина и убеждения были для Афанасия Никитина тождественны, и он пронес их в сердце, ходя за три моря, открыв Индию для своей северной стороны одним из первых в европейской литературе.

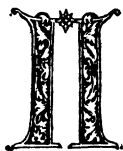




МАКСИМ ГРЕК

Шествуя по пути жестокому
и многих бед исполненному...

Максим Грек



ри Василии III, великом князе московском, состоял лекарем Николай Немчин, как в Белокаменной звали Николая Булева, уроженца Любека, скитавшегося по европейским городам, прибывшего к нам на Север из Рима. Был скиталец «профессором медицины и астрологии», перевел изданный в Любеке «Благопрохладный вертоград», предсказывал властителям судьбы по звездам и даже слыл в «словесном художестве искусным». В Москве же свою сверхзадачу, как сказали бы мы, Булев видел в том, чтобы добиться согласия — ни много ни мало — на подчинение православной церкви Ватикану. Приглядевшись к расположению звезд на небе, к конфигурации планет относительно Солнца, астролог пришел к неутешительному выводу, гласящему, что приближается конец света и вот-вот наступит всемирный потоп. Николай Немчин в своих грезах о конечных судьбах человечества одинок не был, ибо ранее германский звездочет Штоффгер во всеуслышание объявил, что в 1524 году разверзнутся небесные хляби и воды поглотят земли и языки.

В средние века, да и позднее, как мы знаем, с располо-

жениями светил считались самые высокопоставленные и влиятельные деятели. И нередко самые просвещенные люди. Гороскоп повелевал — и с ним считались. Николай Немчин, высказавший зловещие предсказания в письме к влиятельному и ко всем вхожему дьяку Мисюрю-Мунехину, успеха не имел. Против «латинского злословия» яростно выступил Максим Грек, монах-ученый, приехавший в Москву с берегов Эгейского моря для исправления переводов служебных книг. В юности сам Максим Грек увлекался — да так, что чуть не погиб, — астрологией, но это было для него далеко позади. В послании своем Максим Грек решительно выступил против Николая Немчина и его мрачных пророчеств. Он не советовал придавать им значения. Нельзя, вразумляя спокойно писателя, слушать «тщацихся звездозрением предрешати о будущих временах». С мнением Максима Грека совпали и соображения старца Филофея, с которым Москва издавна считалась. В 1524 году, как и в иные лета, событий было довольно много, небо, однако, не обрушилось на землю, и конец мира не наступил. «Зловерие и нечестие», таким образом, было опровергнуто, что, впрочем, не помешало Николаю Немчину процветать в высоких придворных кругах. Но у Максима Грека появился влиятельный недруг, обладающий связями в Москве и за рубежом. Когда же астролог-звездочет внезапно умер, Максим Грек откликнулся на это событие эпиграммой: «Кончину мира поспешил ты, Николай, предвозвестить, повинуюсь звездам; внезапное же прекращение своей жизни не возмог ты ни предсказать, ни предузнать...»

Борьба с астрологом-звездочетом из Любека — всего-навсего случай из бурно переменчивой жизни Максима Грека. Под этим именем в древнерусскую книжность, как доказали ученые, вошел Михаил Триволис, грек по национальности, один из высокообразованных людей восточноевропейского средневековья, проживший долгие годы, полные исканий, тревог, трудов, обретений, драматических ошибок, злоключений, подъемов и бед.

Присмотримся к делам и дням посланца Ватопеда, монастыря на далеком Афоне.

Он увидел свет пятьсот лет назад (видимо, в 1480 г.), хотя совершенно точной даты мы назвать не можем: «Максимово рождение от града Арты, отца Мануила и Ирины,

христиан греков философов». Албанская Арта, в которой преобладало греческое население, находилась в ту пору под турецким владычеством. Максим, сжигаемый неутолимой жаждой познания, которую он унаследовал от родителей, еще в ранней юности перебрался в Италию, бурно переживающую эпоху Возрождения, посещал лекции и слушал наибогатованнейших мужей науки в таких культурных центрах, как Болонья, Падуя, Феррара, Милан, Флоренция, постоянно бывал в домах «премудростью многою украшенных». В основе интересов (общая особенность средневековья) находились богословские дисциплины, но Михаил Триволис жадно постигал «внешние науки», став выдающимся филологом, знатоком языков, грамматик и мифологии, страстно увлекался Гомером и Платоном; последнего он решительно предпочитал Аристотелю, считая, что «свет словесный», вечные идеи, которые не погибают, автор «Апологии Сократу» объяснил страждущему человечеству.

Незабываемая страница — пребывание Триволиса в Венеции, где пытливый молодой человек стал сотрудничать с Альдо Мануцием, славным издателем, книги которого расходились по Европе, чьи великолепные «альдины» ныне высоко ценятся. Бесспорны заслуги гуманистов, борющихся за освобождение и расцвет личности, осправившихся в своих поисках на памятники классической древности, собиравших и издававших антики, вдумчиво и критически изучавших действительность, ценивших точные знания. Принадлежа к высокому кругу итальянских знатоков наук и культур, папгерой не понаслышке знал и о теневых сторонах возрожденческих фигур и деяний. Ему одновременно виделось, что окружающие в своей повседневности, в бытовом общении «всяким нечестием исполнены». К этому у Максима были свои основания, которые нельзя не признать весомыми.

«Возрождение, — пишет А. Ф. Лосев, современный наш исследователь, — прославилось своими бытовыми типами коварства, вероломства, убийства из-за угла, невероятной мстительности и жестокости, авантюризма и всякого разгула страстей». И далее в лосевской «Эстетике Возрождения» рисуется картина того, чем было отмечено время: «Священнослужители содержат мясные лавки, кабаки, игорные и публичные дома... При Юлии II в Ватикане происходил бой быков... Когда умирал какой-нибудь известный человек, сразу

же распространялись слухи, что он отравлен, причем очень часто эти слухи были вполне оправданны».

Нет ничего удивительного в том, что когда начал огненные проповеди Иероним Савонарола, фанатичный флорентийский монах, обличавший нравы власть имущих, социальные контрасты, призывавший к покаянию, его окружили толпы потрясенной молодежи, да и пожилых. С замиранием сердца вслушивался в проповеднические слова Михаил Триволис, Савонарола публично говорил о всеильном папе Александре VI Борджиа, что «неправданием и злобою превзыде всякого законопреступника». Конец мрачного проповедника, автора сочинений «О презрении к свету», «Об упадке церкви» известен: его осудили, повесили и труп сожгли; так обычно поступала инквизиция с еретиками. Среди поклонников Савонаролы мы видим и вчерашнего друга гуманистов, уверовавшего в необходимость возвращения к идеалам ранних учителей, к аскетической суровости нравов.

Приняв католичество, Триволис стал монахом, строжайшие соблюдавшим самое крайнее воздержание, ревностным сторонником аскезы, начисто отказавшимся от всяких жизненных благ. Мысль о поработенной родине не давала покоя. По возвращении в Грецию его взор обратился на восточный выступ Халкидонского полуострова в Эгейском море, где находился Афон, называемый Святой горой; на каменистых склонах издавна гнездились православные монастыри. Здесь, на Афоне-горе, искатель истины возвратился в православие и стал ревностным послушником Ватопедского монастыря, известного строгостью прав, Максимом. Афон был богатейшей сокровищницей многоязычных (греческих, славянских, арабских) книг, всегда влекших к себе Максима с неодолимой силой. Некоторые рукописи относились к глубокой старине — к девятому веку. Ватопед жил подаянием, и за сбором милостыни в разные страны, в том числе славянские, посылался живой и общительный инок Максим, обладавший даром убеждать окружающих. Так прошло десять лет.

Солнце сияло над голубыми волнами моря и зеленели кусты на горе, когда весной 1515 года в монастырь прибыла обильная милостыня вместе с грамотой из далекой Москвы, Василий III — сын прославленного Ивана III и Софии Палеолог, чье княжество становилось огромным царством, —

просил прислать па Русь старца Савву, «переводчика книжнова на время». Просьба никого не удивила: на Афоне все знали, что далеко на севере, в Московии, в Кремле яростно спорили о правде земной и небесной, опираясь на тексты библейских книг, агиографическую литературу (жития святых) и разные другие сочинения. Споры не были отвлеченными, за ними стояли вопросы жизни, политика, дипломатия, земельные и иные интересы. Но Ватопеду исполнить «повеление благовернейшего великого князя» не было, увы, никакой возможности, ибо, как писалось, Савва «многолетен, ногами немощен». Кого же Ватопед послал в тридевятое царство? Конечно же, Максима, искусного в писании, знатока всяких книг, добродетельного аскета, исполненного духоводъемных сил. Правда, он, как было сказано в ответной грамоте, «языка не весть русского, разве греческого и латинского, надеем же ся яко и русскому языку борзо навыкнет».

Был ли прекрасным день, когда Максим последний раз взглянул на Ватопед? Сюда, на Халкидон, ему не суждено было никогда возвратиться. Сначала ехали морем и долгое время провели в Таврии, где афонский инок усердно читал славянские книги, постигая чужую речь. Есть споры, почему ходебщики бесконечно долго путешествовали. Как бы то ни было, Москва встретила святогорцев колокольными звонами. Максима как почетного гостя поселили на Кремлевском холме, и он здесь быстро получил прозвание Грека, с этим и вошел навсегда под своды истории. Кроме полного содержания, вчерашний страпствователь-мореход получил доступ в книжницу московских государей, которая отличалась богатствами. В ней можно было перечитать Гомера и Вергилия и почувствовать себя дома в греческих и латинских «божественных дворцах Олимпа». Но Максима ждала срочная работа — Москва жаждала приобщения к нетленной мудрости старых книг.

Кремль обладал огромным опытом коллективной книгописной работы. К ней митрополит Макарий имел большой вкус и охоту, предпринимая грандиозные выпуски, навсегда вошедшие в историю отечественной книжности. При деятельном участии Максима появились такие рукописные исполнены, как «Степенная книга», «Четьи-Минеи», Лицевой (украшенный иллюстрациями) летописный свод, — все это потребовало монастырского терпения, усилий многих рук и

безукоризненной грамотности. Максим с Афона приехал задолго до патриаршества Макария. При Максиме возникла своего рода книгописная старательная дружина. Вместе с Максимом денно и нощно работал Дмитрий Герасимов, умница, знаток латыни и немецкого; помощником Герасимова стал Власий. Последний происходил из новгородцев, славившихся на Руси образованностью.

Из послания Герасимова влиятельному дьяку мы узнаем, как шло дело: «Ныне, господин, Максим Грек переводит псалтырь с греческого великому князю, а мы с Власом сидим переменяясь: он сказывает по-латыни, а мы сказываем по-русски писарям, а в ней 24 толковника». Словом, работа кипела, перья погружались в чернила из толченых орехов, писцы даром хлеб не ели.

Размеры книги были немалые — свыше тысячи страниц, но Максим с многочисленными помощниками всю работу выполнил за год и пять месяцев, сопроводив перевод Псалтыря обращением к великому князю, посившим пояснительный характер. Возник огромный сборник псалмов с пояснениями. Псалмы входили в состав каждой службы, от их истолкования зависел практический подход ко многим делам. В песнопениях знающие люди видели «тишину души, орудие от почных страхов, украшение молодых и утешение старых».

Недаром писатель много оскитался по свету — дела мирские не давали ему покоя. Максим не просто попросился, завершив тяжкий труд, отпустить его с миром на Афон, но откровенно призывал Василия III и его наследника освободить Константинополь от агарян (турок) и даровать свободу пленным грекам. Мысль эта висела в воздухе, о ней толковали в теремах и палатах, но была для Москвы совершенно неприемлемой. Ученого мужа одарили, попросили потрудиться еще, оставив без внимания его военный совет. Слишком много было у Москвы собственных внутренних и внешних забот. Присоединились к Москве последние полусамостоятельные уделы, такие, как Псков, Рязанское княжество. Подвергались опале и ссылке бояре, привыкшие ощущать себя царьками, — нелегко было ломать их удельную спесь. Житья не было от Крымского ханства — набег следовал за набегом. Крымчаки побывали на Руси в 1507, 1516, 1518, 1521 годах. Немного поуспокоили Казань, построив Василь-

сурск-крепость и заведя добрые отношения с дальновидными людьми в самой Казани, но, как показала жизнь, все это были полумеры. В общем, Москве в те годы было не до Константинополя.

В дальнейшем Максима ждали тягчайшие неприятности и годы заключения. И все-таки дело не во внешних злоключениях — зерно трагедии лежало в собственной его душе. Возрожденческая юность обернулась ревностным поклонением аскетизму. Кроме того, средневековая жизнь была строго нормирована. При дворе великого князя собирались кичливые потомки удельных князей, процветало местничество, и в быту говорили: «Всяк сверчок знай свой шесток». Круг людей, дававших советы великому князю, был не столь обширен, и высказываться, да еще по крупным внешнеполитическим вопросам, было позволено далеко не каждому, хотя жизнь выдвигала на поверхность часто совсем неродовитых приверженцев новизны. Максим Грек действовал на свой страх и риск, не учитывая, что «в чужой монастырь со своим уставом не ходят».

Афонский инок, владевший латынью лучше, чем церковно-славянским, стал выдающимся славянским книжником.

Древнерусская культура была одной из самых открытых и восприимчивых культур мира. Она не боялась принимать в свои ряды иноземцев и иноязычников самых разных профессий. Достаточно назвать Аристотеля Фиорованти, приехавшего из Венеции и построившего великолепный храм-палаццо на Кремлевском холме. Вспомним содруга Андрея Рублева выходца из оскудевшей Византии Феофана Грека, самого трагического художника шестнадцатого века. Или, наконец, Пахомия Лагофета, приехавшего также с Афона, чья торжественная риторика, полная повторов, была близка душевному строю средневекового человека.

Я назвал поименно только звезды первой величины. Они естественно и свободно вошли в круг творцов древнерусской культуры. Не отказывались от собственных национальных традиций, нет, часто даже опираясь на них, иноземные мастера понимали, что над Москвой, Новгородом, Владимиром иное небо, чем, скажем, над Балканами. Аристотель Фиорованти даже в Венеции слыл мастером-искусником, он хорошо знал итальянское зодчество. Но, отдавая дань земле,

пригласившей его, перед тем как начать стройку в Москве, он побывал во Владимире, где осмотрел старый Успенский собор.

Искусники учитывали особенности художественных школ, будь то стенопись, зодчество или витийственное плетение словес. Незаметно «свое» и «чужое» сплавлялось в единое целое.

Нечто подобное пережил, передумал, перечувствовал, воспроизвел в своих сочинениях Максим Грек за время почти сорокалетнего пребывания на Руси. Он искренне считал себя «изначала доброхотным... служебником... державы русской», хотя его сердце не переставало болеть о далекой поработанной родине. Максима нельзя не понять и не отнестись к нему с сочувствием. Он глубоко постиг древнеславянскую книжность, создав в Московии тексты, ставшие здесь каноническими, переведя Триодь Цветную, Часослов, Псалтырь, Евангелие и Апостол.

Максим — труженик необыкновенный — писал убежденно и страстно, прибегая к выразительным сравнениям и метафорам; его тяжеловесная речь, часто довольно-таки неуклюжая, насыщена образами огромной силы. Невольно вспоминается античное наблюдение: слагать хорошие метафоры — значит подмечать сходства в природе. Едва ли кто из современников мог сравниться с ним в знании богословия, философии, языков, грамматики и лексикографии, творений античности. С полным основанием он, понимавший, что книга — инструмент насаждения мудрости, может быть назван энциклопедистом шестнадцатого столетия.

Говорят, что недостатки — продолжение достоинств. Обширная келья в Чудовом монастыре в Кремле, заполненная до сводов книгами, вобравшими в себя сокровища всех богатств человеческого духа, стала своего рода клубом вельмож-окольничьих и духовников, споривших о государственных, церковных, богословских, дипломатических, военных делах, о путях и судьбах молодой Руси, уверенно выходившей на международную арену. Все живо интересовало вчерашнего афонца, выдавшего виды, обо всем было у него собственное мнение, высказываемое напрямик. Среди его постоянных собеседников, прогуливавшихся с ним по кремлевским площадям и улицам, можно было видеть знатока «внешних наук» Андрея Курбского, радовавшегося боярским крамолам,

князя Андрея Холмского, дипломата Ивана Берсень-Беклемишева, ездившего в Западную Европу, постоянно общавшегося с императорами, королями и ханами; звучали в келье голоса высокоумных иноков Нила Курлятова и Зиповия Отенского, книжника Василия Тучкова, дьяка Федора Жареного, ученых писцов... Приходили и просто пытливые люди, охочие до знаний. С этими и другими важными лицами Максим постоянно говорил «с очей на очи», то есть один на один. Бывали в келье и разговоры, носившие, как бы мы сказали, групповой характер.

Чудов монастырь в Кремле, стоявший рядом с Малым дворцом, играл роль придворно-духовного центра. Обитель была богата не только золотой и серебряной утварью, крупным жемчугом и драгоценными камнями. В сокровищнице хранились такие драгоценные рукописи, как «Слово об антихристе» Ипполита, относящаяся еще к двенадцатому веку, «Толкование на Псалтырь» — сочинение Феодорита, епископа Кипрского... Можно сказать, что все, связанное со словами, произносимыми Максимом Греком, вызывало жгучий интерес в Москве и далеко за ее пределами. Мнения ученого-подвижника истолковывались и перетолковывались. Когда спутники Максима, получив для Ватопеда «сугубую мзду», отбыли восвояси, в Кремле создался аристократический кружок переводчика-книжника, в котором с неслыханной резкостью и остротой обсуждались богословские, международные и внутренние (в том числе о монастырском землевладении) дела и даже династические предположения.

Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Так учит пародная мудрость. По важнейшим вопросам — от них зависела судьба страны — святогорец дерзко разошелся во мнениях с Василием III и патриархом Даниилом, воинствующим церковником, думавшим не столько о благодати, сколько о мирских, главным образом о придворных делах. Именно Даниил дал патриаршее утверждение-разрешение на развод великого князя Василия с Соломонией Сабуровой, что противоречило церковным установлениям. Максим, настроенный аскетически, почитавший догмат как святыню, был решительно против развода.

Греки не были редкими гостями в Белокаменной. Одно время торговую слободу, в которой селились заморские купцы, даже пазывали Греческой. Встречались земляки Макси-

ма в духовной и дипломатической среде. Тесное общение Максима с турецким послом Скиндером — князем Мангупским, греком по национальности, авантюристом по призванию, дало повод заподозрить его во враждебной по отношению к Руси деятельности, а потом и прямо обвинить его в изменнических действиях.

Последовали два суда над святогорцем — в 1525 и 1531 годах. Обвинения были тяжки и довольно разнообразны — от искажений в переводах (библейские тексты имели силу закона), богословских ересей, чародейства до изменнической переписки с турецким султаном и афинским пашой, до хулы на великого князя и до упорного нежелания признать право Москвы собственной властью — «самочинно и бесчинно» — поставлять патриарха всея Руси независимо от вселенских владык, находящихся в поработленном Константинополе. За каждое из этих обвинений можно было попасть на костер или лишиться головы на плахе. Ведь был же обезглавлен в 1525 году любимый собеседник Максима Иван Никитович Берсепь-Беклемишев, отстаивавший боярское своеволие как представитель аристократической оппозиции великому князю. Последний изрек гневную фразу, означавшую конец: «Поди, смерд, прочь, не надобен мне еси!»

Существует огромная отечественная и зарубежная литература, посвященная судебным разбирательствам и последующему монастырскому заточению Максима Грека. Подходы исследователей к делу довольно разнообразны. Приведем некоторые из них:

Максим — жертва «великой русской беспросветности» и наказан за то, что пытался пробудить Москву от «умственной спячки»;

Максим Грек — агент Константинополя, приложивший все усилия к тому, чтобы втянуть Русь в пагубную войну с турецким султаном;

Максим Грек — невинный страдалец, гость, ставший пленником, печалователь убогих и сирых, критик лихоимцев и любителей серебра;

он — книжник, увлеченный в юности проповедью аскетизма, афонский монах, связавший свою судьбу с потерпевшим крах аристократическим и церковным кружком в Московском Кремле, наказанный за своеволие великим князем и патриархом...

Какими бы ни казались супротивные характеристики, бурная жизнь Максима Грека дает немало серьезных оснований для многочисленных истолкований и подходов. Но понятие «беспросветность», как и оскорбительную кличку «агент», исключим как искажающие действительность. У современников и последующих поколений вызывали жгучий интерес не только бесчисленные сочинения Максима (чуть не четыреста названий!), распространившиеся в огромном числе списков, но и обвинительные материалы, послужившие основанием для длительного монастырского заключения, бывшего первоначально жестоко-суровым.

Противоречия Максима Грека — на расстоянии лет это особенно очевидно — противоречия средневекового человека, охваченного духовною жаждой, пригубившего из возрожденческого кубка, но решительно отринувшего этот сосуд. Потрясенный видом костра Савонаролы, Максим Грек алкал истины на путях духовного очищения и воздержания.

Сын порабощенного народа, как и многие его соотечественники, он с падеждой взирал на возвышающуюся сильную Москву, провидя русскую освободительную миссию. Нет, он не был доверенным лицом паши или султана, но через море и бесконечные скифские степи ехал с тайной пламенной мечтой о том, что он убедит Василия III, списавшего славу энергичного борца за объединение под властью Москвы всех русских земель, обнажить меч в защиту и поверженных греков. Этому не суждено было сбыться — людские возможности и источники требовались Руси для иных, более насущных ее нужд. Москва и думать не хотела о религиозной войне, о крестовом походе на «проклятых агарян, потомков Измаиловых», как называли книжники турок. Ведь даже взятие Казани — исторически неизбежное дело — было в пору Василия III лишь мечтой, ее позднее осуществил Иван Грозный на глазах у Запада и Востока, в бытность в Московии Максима Грека.

Представляется теперь невероятным, как человек, не знавший русского разговорного языка, не только взялся за перевод и исправление книг, но и в предельно короткий срок развернул кипучую литературно-публицистическую деятельность, представляющую ныне исполинской. Забегая вперед, скажем, что следы влияния Максима мы улавливаем даже на таком официозном документе, как «Стоглав» —

сборник деяний и постановлений церковного собора 1550—1551 годов в Москве, созданного Иваном Грозным и митрополитом Макарием, рисовавший картины тогдашней жизни, когда многие обычаи «поисшаталися», когда в монашеской жизни обнаружилось много пороков. В «Стоглаве» нашел отражение и спор века — владеть или не владеть монастырям землей, тут-то и сгодились познания ученого монаха, знавшего, что думают об этом на Афоне, именовавшемся в обиходе Святой Горой.

Лингвистическими и филологическими способностями Максима, разумеется, далеко не все можно объяснить, тем более что в московскую пору Максим был преисполнен недоверия к «внешней человеческой мудрости», решительно отвергая «философских словес суетное поучение».

Всегда необыкновенно важно, что думает человек о себе, как смотрит на свое предназначение в жизни. Оказавшись в Кремле, Максим Грек ощутил себя вселенским посланцем «царства духа» в греховном «царстве Кесаря». Окружавшие в Чудовом монастыре поддерживали этот подход к духовному посланнику.

Беседы с утонченными итальянскими гуманистами, особенно с Альдом Мануцио, типографом и знатоком античности, библиотеки Венеции, зажигательные речи Савонаролы на площадях Флоренции были далеким и почти нереальным прошлым. В Москве же Максим нашел то, что едва ли ожидал — государеву библиотеку древнеславянских, латинских и греческих манускриптов. Было что почитать человеку, томимому духовной жаждой. Приходили в келью и собеседники-спорщики, разговоры с которыми оттачивали ум и открывали глаза на стороны жизни, о которых и не подозревал.

В Чудовом монастыре началось сотрудничество Максима с Вассианом Патрикеевым, они вместе составляли список Кормчей — книги, содержащей правила и законы, касающиеся церкви. Вассиан был яростным нестяжателем, как называли противников церковного и монастырского землевладения. Кормчая, переведенная с сербского книга-правительница, редактировалась и составлялась с необыкновенной смелостью, тенденциозно, так, чтобы жестоко посрамить стяжателей, сторонников Иосифа Волоцкого, горой стоявшего за монастырское крупное землевладение, восхищавшегося западной инквизицией, советовавшего не щадить еретиков,

если даже они и раскаялись. Считал Иосиф допустимым прибегать даже к «коварству божьему», чтобы отыскивать скрытых недругов, — не случайно иосифляне в пору Ивана Грозного содействовали созданию воинства с метлами, то есть опричнины.

Вассиан Патрикеев, противостоявший воинственным церковникам, конечно же, рассказывал Максиму о Ниле Сорском, проповедовавшем «умное делание», скитский отказ от стяжаний, милость к заблудшим и т. д. От этих соображений Нила Сорского всего несколько шагов до мыслей Максима Грека об «умной красоте души» и «умном добродушии». И конечно же, такому начитанному человеку, как Максим, по душе была заповедь Нила Сорского, гласившая: «Писания много, но не на все истина суть». Памятно всем было, что выступал Нил Сорский против ухищрений внешнего благочестия и обрядности, сравнивая бессловесные дурные помыслы с лукавым зверем, проникшим в сердце. Вассиан Патрикеев почитал Нила Сорского старшим учителем, и Максим, конечно, имел в Чудовом монастыре возможность постичь нестяжательские взгляды из первых рук. Корень зла — в насилии, от кого бы оно ни исходило: кесаря, пастыря или монастыря, — к этому заключению твердо пришел Максим.

Афонский послушник, разгуливая по Кремлю на манер перипатетиков, охотно вступал в споры о монастырских и церковных владениях, стараясь ознакомить москвитов с тем, что делают, говорят и пишут по этому поводу в Европе. Видимо, незаметно для себя Максим вводил в обиход необыкновенно интересные западноевропейские материалы, о них только докатывались ранее разговоры. Было и многое другое. В сочинении «Повесть страшна и достопамятна и о совершенном иноческом житии» Максим Грек рассказал о том, как учил и принял мученический конец Иероним Савонарола. С неслыханной прямоотой в пример ставились монахи католического ордена, живущие милостью и собственными трудами. К ужасу и негодованию догматиков ученый муж хвалил «латынян»! Повесть рассказывала — попутно — о Париже, куда стекаются молодые люди для изучения внешних, то есть светских наук. В Париж, подчеркивал Грек, приезжают из стран «западных и северных желающие словесных художеств» и не только сыновья «простейших человек», по

и дети имеющих «царскую высоту и боярского и княжеского сапа». По окончании обучения возвращаются в свою страну «преполон всякие премудрости и разума», становясь «украшением и похвалой своему отечеству». Перед нами восторженный гимн просвещению, необходимому всем — от царских детей до «простейших человек».

Сидя в келье, что на холме возле реки, размышляя о знаниях и темноте, о скудости и богатстве, являл миру мысли свои Максим Грек: «Повесть некую страшную начиная писанию предати...» В тюремной темнице Максим Грек подбадривал себя словами, исторгнутыми из глубин сердца: «Не тужи, не скорби, не тоскуй, любезная душа моя, о том, что страдаешь без вины от тех, от которых следовало бы принять все блага, так как ты питала их духовною трапезою, исполненную св. духа, то есть святоотеческими толкованиями боговдохновенных песнопений Давида, переводя их от беседы еллинские на беседу шумящего вещания русского, а также иными многими душеполезными книгами, одни из них переводя, а в других исправив много неверных чужих слов...» В этом отрывке, написанном от души, много подлистной поэзии.



епосредственным откликом на злобу дня было слово Максима о приключившемся в Твери пожаре, когда сгорал соборный храм, погорели и иные церкви и дворы. Многие из его речей аукнется позднее, в девятнадцатом-двадцатом веках в обличениях Льва Николаевича Толстого. Максим мужественно произнес «печали и безумия гласы». Перед нами сочинение, направленное против фарисейства и показного благолепия, когда красное пенне, колокольные звоны, драгоценное украшение икон — всего лишь прикрытые для «неправедных и богомерзких лихов». Одна за другой перед нами возникают сцены тогдашней тверской жизни: роскошные монастырские пиршества, сопровождаемые играми на гусях и тимпанах, обильным винным воз-

лпшием, «всяческими играциями и плесканиями», смехом и болтовней, а в это время сироты и нищие стоят у ворот и «горько плачут о скудости своей...»

«Зачем вы держите меня насильно?» — вопрошал у начальствующих писатель-ученый. Но кто мог помочь Максиму, погрязшему в московских делах? Ведь даже позднее, в начальную пору царствования Ивана Грозного, митрополит Макарий писал узнику: «узы твоя целуем, яко единого от святых, пособити же тебе не можем».

К чести Макария надо сказать, что он в свою официозную библиотеку, в знаменитые «Четьи-Минеи» включил переводы из Симеона Метафраста и его труда против «латин» и астрологии. Завязалась переписка и с царем. Максим Грек из Троицы слал трактат Ивану Грозному «Главы поучительные начальствующим правоверно». Да, необычайной и тяжелой была участь аскета и провидца...

Мир Максима Грека позволяет нам восстановить духовный облик образованного человека средних веков. Публицист и богослов писал на самые разнообразные темы, что дает возможность увидеть круг интересов, занимавших общество.

Вступая в разговор, Максим любил выражаться энергично, брать быка за рога, ибо понимал, что очам опасно слишком сильное зрение, языку — воздержание, телу — порабощение. Иногда сочинение начинается причитанием, словно услышанным на панерти: «Горе мне окаянному, горе мне, увы мне, увы...» Его сравнения запоминаются и входят в речь: как пчела падает на многообразные цветы, собирая сладость медвящую, так поступает и тот, кто занимается почитанием книг. Горечь и скудость жизни скрашивалась, когда перед глазами склонившегося над столом возникали мысленные картины рая, в котором пребывал Адам, испытывая несказанные душевные и телесные радости. Некый друг, «рачитель книжный» поинтересовался, что такое «акростих», — дается подробное объяснение. Иногда возникали совершенно неожиданные вопросы. Есть сочинение, адресованное царю Ивану Васильевичу «...о еже не брати брады». Задолго до тех лет, когда Петр I начнет насильственно лишать бояр бороды, о волосах на подбородке и щеках размышлял Грозный. Максим Грек доказывал, что в человеке все необходимо — и борода растет не зря, она «умышлена была премудрейшим хитрецом богом» и не только для того,

чтобы различать женский пол и мужской, но и для «честно-видного благолепия лиц наших». Но одно утверждение, что с бородой человек выглядит красивее, представлялось Максиму легковесным, и поэтому автор делает ссылки на «Священное писание». Так книжность соотносилась с бытом.

Работая над исправлением книг и всевозможными переводами, споря с окружающими о смысле, точности, звучании слов и оборотов, Максим постоянно раздумывая о языке и его особенностях. Называя себя на тогдашний манер философом, святогорец был на деле многоязычным знатоком, свободно владевшим греческим, итальянским, латинским, церковнославянским языками. Московиты с жадностью вчитывались в вышедшие из-под его пера трактаты по грамматике, показывавшие связь ее с риторикой и философией. Грамматику, считая «царицей наук», предуведомлением философии, Максим делил на четыре части — орфографию, этимологию, синтаксис и просодию. До Максима образованные люди в Москве пользовались руководством, пришедшим давным-давно из Сербии, но оно было очень редко да и не отвечало на современные вопросы, встававшие то и дело перед разраставшимся племенем славянских «описателей». Знаменитое послание свое «О грамматике» Максим Грек начал торжественно: «Грамматика есть... учение зело хитро и еллинех, то бо есть начало входа их к философии и сего ради немощно есть малыми речами и на мало время разумети силу ея...» Потом он увлеченно говорит, что если в самом деле желаешь «дойти до конца премудрого сего учения», то «поди сиди у меня» год-другой, покинув городские стены и всякое житейское попечение. Таким образом он давал понять, что наука, занятия ею, требуют предельной сосредоточенности умственных и физических сил, несовместимы с суетой.

В других трудах Максим Грек, также тщательно подчеркивая пользу грамматики, ссылается не только на общераспространенные имена Златоуста и Иоанна Дамаскина, что подобны солнцу, но и восхищенно цитирует Аристотеля и Вергилия. Необычайно интересно «Толкование именам по алфавиту», написанное в ответ на вопросы любознательного человека. От этого словарика, содержащего около трехсот истолкований греческих, латинских и еврейских имен, начинается свою родословную многочисленное семейство русских

«толковников». Вот начало словаря, составленного Максимом: «Ангел — вестник, Агафангел — благий вестник, Агав — светел, Агаф — благ...» Зачин, сделанный Максимом Греком, долго помнился, сохранилась рукопись семнадцатого столетия «Книга, глаголемая Лексис, сиречь неведомые речи, перевод Максима Грека от иноверных на русский язык право». Заботясь «о книжном исправлении», святогорец создавал своего рода критическую филологию — в ней остро нуждалась российская письменность.

Крепнувшая Русь тянулась к знаниям, и по монастырям, градам и весям бродило тогда немало иноземцев, выдававших себя среди легковерных за знатоков книжной мудрости. Были среди них вральманы шестнадцатого века, которые пускали пыль в глаза, туманили «простецов» разными приемами, морочили мирян и обирали встречающих. Хорошо зная об этом, Максим Грек написал сочинение «О пришельцах философах», разъясняющее, как отличить подлинных знатоков греческого и латыни от шарлатанов. По его мысли, следует дидаскалам (учителям-странникам) дать прочесть стихи-гекзаметры и пентаметры, заставить перевести и дать объяснение. Это своеобразное руководство было сопровождено точным переводом и истолкованием. Таким образом можно было проверить знание дидаскала. Если последний делает то, что от него требуется, — почет ему и любовь. И следует неожиданное добавление, вызванное раздумьями над собственной судьбой: «гостю почеть, что воля. А ще ли неволя гостю, то есть пленник, а не гость». Многого стоит этот вздох человека нелегкой судьбы...

Мы не знаем, привез с собой в Москву или нашел в кремлевской государевой библиотеке ученый так называемый Лексикон Свида, напечатанный в самом конце пятнадцатого века в Милане, а позднее — в шестнадцатом — в Венеции, Лексикон Свида — энциклопедический памятник византийской учености, созданный еще в десятом столетии. Статьи из этой энциклопедии Максим Грек переводил много и охотно, по всей вероятности, по просьбе таких просвещенных содрузгов, как Федор Карпов, Вассиан Патрикеев, В. М. Тучков-Морозов. Из Лексикона русские люди могли узнать легенды о Прометее как создателе алфавита; о блаженном народе рахманах, живущем в теплой стране, питающемся воздухом, чистой водой и плодами земли; о Платоне, гре-

ческом философе — все это было ново и привлекательно для тех, кто алкал знаний. А таких в Москве существовало немало.

Была эпоха великих географических открытий. Колумб нашел путь в Америку в 1492 году. Был также найден морской путь в Индию. Максим Грек рассказал об этом событии в одном из своих бесчисленных сказаний в 1540 году. Повествуя о всяких чудесах мира — семивратных Фивах, египетских пирамидах, Трое и Колоссе Родосском, — любознательный инок сказал и о новых землях, которые открыли мореходы Португалии и Испании. Если древние люди, сообщал святогорец, не дерзали плыть через Гибралтар, нынешние же люди vyplывают на великих кораблях «со всяким опасством» и нашли «островов много» обитаемых и пустых и «землю величайшую, глаголемую Куба, ея же конца не ведают там живущи». Нашли же еще, общежшие около всю южну страну, даже до востока солнца зимняго ко Индии, островов семь, Молукиды (Моллукскими) нарицаемых, в них же родится и корица, и гвоздика, и ины благовонны ароматы, которые дотоле не были ведомы ни единому человеческому роду, ныне же всеми ведомы королям испанским и португальским».

Так расширялись географические и исторические знания, литература пыталась освоить новые окрестности.

Доказана, как я говорил, причастность Грека к документам Стоглавого Собора. Имел отношение Максим Грек и к началу книгопечатания в Москве или во всяком случае размышлял на эту тему с московскими грамотеями. Едва ли он не беседовал с теми, кто был причастен к книжному разуму о таком деле, как книгопечатание — о европейской новинке толковали все. В Москву доходили книги, напечатанные в Кракове и Венеции и других местах. Максим Грек не дожидаясь выхода знаменитого «Апостола» основателя московского книгопечатания Ивана Федорова. Но выпуск книг, как мы знаем, начался несколько ранее и были книги, выпущенные так называемой Анонимной типографией. Максиму Греку принадлежит истолкование типографского знака Альда Мануция, сопровождаемое такими пояснениями: «В Венеции был некий философ, добре хитр; имя ему Алдус, а прозвище Мануциоус, родом фрязин, отчеством римлянин, ветхого Рима отрасль; грамоте и по римскы и по греческы доб-

ре гараздо. Я его знал и видел в Венеции и к нему часто хаживал книжным делом; а я тогда еще молод, в мирских платьях». В послесловии к знаменитому Федоровскому «Апостолу» было потом сказано, что царь начал помышлять о печатных книгах «якоже в греках и в Венеции и во Фригии». Думается, что совпадение носит не случайный характер.

Около сорока лет продолжалась деятельность Максима Грека на Руси, оставив заметный след в памяти современников и последующих поколений. Он умер в 1556 году. Его помнили, читали, цитировали, ссылались. Знания, пущенные им в обиход, постепенно сделались составной частью отечественной культуры, что и дало ему право на почетное место в ряду древнерусских книжников. Не многие в его пору могли сравниться с ним по обширности познаний, связанных со всемирной культурой, прежде всего греческой и итальянской.

Внес свой художественный неутомимый вклад Максим Грек и в мир древнерусской образности. Есть у него иносказание «Слово, простране излагающее с жалостию настрояния и бесчинения царей и властей последнего жития». В нем действуют аллегорические персонажи — вдова Василия и львы, медведи, волки, лисицы, заставляя нас вспомнить «Божественную комедию» Данте, где звери олицетворяют пагубные страсти, а Вергилий, ведущий героя по кругам ада, — Разум... Максимова Василия — аллегория Руси. Зверь — внутренние и внешние опасности, подстерегающие страну на ее историческом пути. Действие в Слове протекает с эпической величавостью: «Шел я по трудному и многоскорбному пути и увидел жену, сидящую при пути, которая, склонив голову на руки и на колена, горько и неутешно плакала: она была одета в черную одежду, обычную для вдов, и окружена зверьми: то были львы, медведи, волки и лисицы». Путник беседует с женой, которая поясняет, что она — «одна из благородных и славных» дочерей владыки всех, что ее называют по-разному — печальством, властью, владычеством, господином. Подлинное же ее имя — Василия, то есть царство — «таково значение на греческом языке имени Василия». С негодованием говорит Василия о тех, кто ее бесчестит, тем самым и себя «ввергают в великие скорби и болезни».

Аллегория Максима Грека прочно вошла в сокровищницу

цу нашей средневековой словесности, как и образ Путника-автора.

* * *

Итак, мы рассказали о некоторых деятелях русской культуры, предпрещивших подвиг Ивана Друкаря.

Ни одно явление культуры не существует само по себе, изолированно, без связей. Иван Федоров воспринял опыт своих учителей и предтеч. Конечно, нельзя думать, что только названные люди оказали влияние на дела Федорова, но и эти яркие личности составляли облик эпохи.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Поэты любят сравнивать книгу с человеком. Действительно, нет ничего и никого на свете, заслуживающего такого сопоставления. Книга человекоподобна. Но есть и существенное отличие. Исчезают поколения, бесчисленные памятники, селения, города, иногда даже сложившиеся культурные слои, — книги все-таки остаются. Время разрушает камни, но у него нет сил против книг. Поэтому, отправившись в поход по дорогам жизни, мы знаем, что самое надежное снаряжение, которое всегда сгодится в дороге — буквы, написанные рукой или напечатанные на бумаге. Духовная мощь Ивана Первопечатника не только в том, что он населил наше средневековье книгами, бережно сохраненными потомками (то и дело появляются в печати сообщения о новых и новых федоровских экземплярах, пощаженных веками и пожарами), но и в его поразительной целеустремленности, негибимой верности избранному просветительскому делу. Он относился к «семенам духовным», к книгам, как к живым существам, понимая, что они переживут его и всех его современников, он печатал свои издания, обращаясь не столько к людям своего времени (а ведь оттиски-копии предназначались именно для них), сколько к ближним и дальним потомкам. Но и в самых его золотых снах не могли пригрезиться книжные моря и океаны, рожденные тем глубоким и прозрачным родником-ключом, который он бережно выкапывал всю свою сознательную жизнь. Прадеды были убежде-

ны, что мы не умрем, пока у нас есть книги. Современность сделала своим излюбленным афоризмом давнюю мысль: книга — посол мира.

Великая книжная держава чтит память своего сына. У нас возникло «движение читателей», в котором принимают участие миллионы. «Народ читает книги бережно и медленно, — писал в свое время Андрей Платонов. — Будучи тружеником, он знает, сколько надо претворить, испытать и пережить действительности, чтобы произошла настоящая мысль и народилось точное истинное слово». Из тьмы веков выхвачено временем лицо просветителя, создателя азбук-букварей, книг для «скорого младенческого научения». Мы открыли для себя Ивана Федорова — создателя и знатока книг, переводчика, писателя, художника, техника, редактора, неутомимого страстнователя, искателя книжного света.



СОДЕРЖАНИЕ

Иван Друкаръ	6
Два портрета	
Афанасий Никитин	29
Максим Грек	43
Вместо эпилога	62

В оформлении брошюры использованы
элементы украшения книг Ивана Федорова.

Евгений Иванович Осетров

МИР ПЕРВОПЕЧАТНИКА

(К 400-летию со дня смерти Ивана Федорова)

Главный отраслевой редактор *В. П. Демьянов*

Редактор *Н. М. Краснопольская*

Мл. редактор *Е. П. Вережкина*

Худож. редактор *Т. С. Егорова*

Техн. редактор *Л. Н. Арефьева*

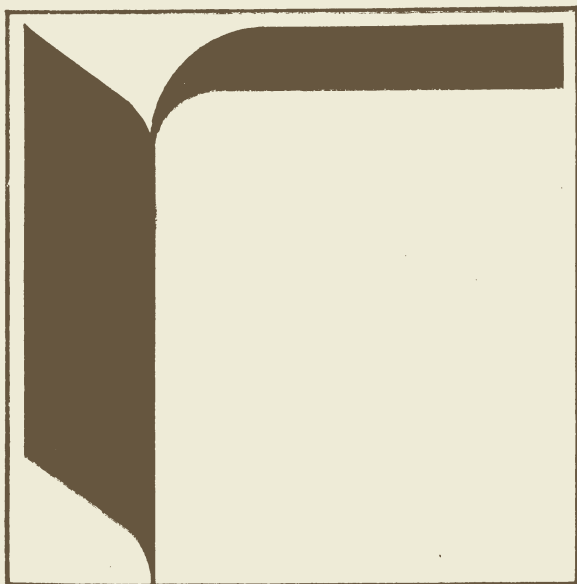
Корректор *Е. К. Шарикова*

ИБ № 6105

Сдано в набор 23.09.83. Подписано к печати 15.11.83. А 05876. Формат бумаги 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 2,8. Усл. кр.-отт. 2,89. Уч.-изд. л. 3,35. Тираж 79 640 экз. Заказ 1686. Цена 11 коп. Издательство «Знание», 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 837012.
Типография Всесоюзного общества «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4,

11 коп.

Индекс 70069



ЗНАНИЕ

НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ